

◆ ВСЕМИРНАЯ
ЛИТЕРАТУРА ◆

АЛЕКСЕЙ
ТОЛСТОЙ



Хождение по мукам



МОСКВА
2022

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Т52

Оформление серии *Ярусовой Натальи*

В коллаже на обложке использованы репродукции работ художников *Джозефа Кристиана Лейендекера* и *Мстислава Добужинского*

Толстой, Алексей Николаевич.

Т52 Хождение по мукам / Алексей Толстой. — Москва : Эксмо, 2022. — 832 с. — (Всемирная литература (с картинкой)).

ISBN 978-5-04-161388-4

Знаменитая трилогия Алексея Толстого «Хождение по мукам» — увлекательное повествование о судьбах двух сестер, Кати и Даши Булавиных, на фоне масштабных исторических событий: во времена Первой мировой войны, двух революций, Гражданской войны. По словам самого автора, «Хождение по мукам» — хождение совести самого автора по страданиям, надеждам, восторгам и падениям, унынию, взлетам — ощущение целой огромной эпохи».

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-161388-4

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2022



Книга I

СЕСТРЫ



О, Русская земля!..
«Слово о полку Игореве»

I

Сторонний наблюдатель из какого-нибудь заросшего липами московского переулка, попадая в Петербург, испытывал в минуты внимания сложное чувство умственного возбуждения и душевной придавленности.

Бродя по прямым и туманным улицам, мимо мрачных, как ящики, домов, с темными окнами, с дремлющими дворниками у ворот, глядя подолгу на многоводный и хмурый простор Невы, на голубоватые линии мостов, с зажженными еще до темноты фонарями, с колоннадами неуютных и нерадостных дворцов, с нерусской, пронзительной высотой Петропавловского собора, с бедными лодочками, ныряющими в темной воде, и бесчисленными барками сырых дров вдоль гранитных набережных, заглядывая в лица прохожих — озабоченные и бледные, с глазами, как городская муть, — видя и внимая всему этому, сторонний наблюдатель — благонамеренный — прятал голову поглубже в воротник, а неблагонамеренный — начинал думать, что хорошо бы ударить со всей силой, разбить вдребезги это застывшее, унылое очарование.

Еще во времена Петра Первого дьячок из Троицкой церкви, что и сейчас стоит близ Троицкого моста, спускаясь с колокольни, впотьмах, увидел кикимору — худую бабу и простоволосую, — сильно испугался и затем говаривал в кабаке: «Петербург, мол, быть пусту», — за что был схвачен, пытан в Тайной канцелярии и бит кнутом нещадно.

Так с тех пор, должно быть, и повелось думать, что с Петербургом — нечисто. То видели очевидцы, как по улице Васильевского острова ехал на извозчике черт. То в полночь, в бурю и высокую воду, сорвался с гранитной скалы и скакал по камням Медный Император. То к проезжему в карете тайному советнику липнул

к стеклу, приставал мертвец — мертвый чиновник. Много таких рассказней ходило по городу.

И, совсем еще недавно, поэт Алексей Алексеевич Бессонов, проезжая ночью на лихаче, по дороге на острова, горбатый мостик, увидел сквозь разорванные облака в бездне неба звезду и, глядя на нее сквозь слезы, подумал, что лихач, и горбатый мостик, и нити фонарей, и весь за спиной его спящий Петербург — лишь мечта, бред, возникший в его голове, отуманенной вином, любовью и скукой.

Точно в бреде, наспех, построен был Петербург. Как сон, прошли два столетия: чужой всему живому город, стоящий на краю земли, в болотах и пусторослях, грезил всемирной силой и властью; бредовыми виденьями мелькали дворцовые перевороты, убийства Императоров, триумфы и кровавые казни; слабые женщины принимали полубожественную власть; из горячих и смятых постелей решались судьбы народов; приходили ражие парни с могучим сложением и черными от земли руками и смело поднимались к трону, чтобы разделить власть, ложе и византийскую роскошь.

С ужасом оглядывались соседи на эти бешеные взрывы фантазии. С унынием и страхом внимали русские люди бреду столицы. Страна питала и никогда не могла досыта напитать кровью своею и духом петербургские призраки.

Петербург жил бурливо-холодной, пресыщенной, полуночной жизнью. Фосфорические летние ночи, сумасшедшие и сладострастные, и бессонные ночи зимой, зеленые столы и шорох золота, музыка, крутящиеся пары за окнами, бешеные тройки, цыганы, дуэли, и на рассвете — в свисте ледяного ветра и пронзительном завывании флейт — парад войскам перед наводящим ужас взглядом выпуклых глаз Императора. — Так жил город.

В последнее десятилетие с невероятной быстротой создавались грандиозные предприятия. Возникали, как из воздуха, миллионные состояния. Из хрусталя и цемента строились банки, мюзик-холлы, скетинги, великолепные кабаки, где люди оглушались музыкой, отражением зеркал, полуобнаженными женщинами, светом, шампанским. Спешно открывались игорные клубы, дома свиданий, театры, синаматографы, лунные парки с американскими удовольствиями. Инженеры и капиталисты работали над проектом постройки новой, невиданной еще роскоши, столицы, неподалеку от Петербурга, на необитаемом острове.

В городе была эпидемия самоубийств. Залы суда наполнялись толпами истерических женщин, жадно внимающих кровавым и возбуждающим процессам. Все было доступно — роскошь и

женщины. Разврат проникал повсюду, им был, как заразой, поражен дворец.

И во дворец, до самого трона несчастнейшего из Императоров, дошел и, глумясь и издеваясь, сам стал шельмовать над Россией неграмотный мужик, с сумасшедшими глазами и могучей мужской силой.

Петербург, как всякий город, жил единой жизнью, напряженной и озабоченной. Центральная сила руководила этим движением. Но она не была слита с тем, что можно было назвать духом города: центральная сила стремилась создать порядок, спокойствие и целесообразность, дух города стремился разрушить эту силу. Дух разрушения был во всем, пропитывал гнилостным ядом и грандиозные биржевые махинации знаменитого Сашки Сакельмана, и мрачную злобу рабочего на сталелитейном заводе, и вывихнутые мечты модной поэтессы, сидящей в пятом часу утра в артистическом подвале «Красные бубенцы», — и даже те, кому нужно было бороться с этим разрушением, сами того не понимая, делали всё, чтобы усилить его и обострить.

То было время, когда любовь, чувства добрые и здоровые, считались пошлостью и пережитком; никто не любил, но все жаждали и, как отравленные, припадали ко всему острому, раздирающему внутренности.

Девушки скрывали свою невинность, супруги — верность. Разрушение считалось хорошим вкусом, неврастения — признаком утонченности. Этому учили модные писатели, возникавшие за один сезон из небытия. Люди выдумывали на себя пороки и извращения, лишь бы не прослыть пресными.

Вдыхать запах могилы и чувствовать, как рядом вздрагивает, разгоряченное дьявольским любопытством, тело женщины, — вот в чем был пафос поэзии этих последних лет: смерть и сладострастие.

Таков был Петербург в 1914 году. Замученный бессонными ночами, оглушающий тоску свою вином, золотом, безлюбой любовью, надрывающими и бессильно-чувственными звуками танго, — предсмертного гимна, — он жил словно в ожидании рокового и страшного дня. И тому были предвозвестники, — новое и непонятное лезло изо всех щелей.

II

«...Мы ничего не хотим помнить. Мы говорим — довольно, повернитесь к прошлому задом! Кто там у меня за спиной? Венера Милосская? А что — ее можно кушать? Или она способствует рощению волос? Я не понимаю, для чего мне нужна

эта каменная туша. Но искусство, искусство, брр! Вам все еще нравится шекотать себе пятки этим понятием? Глядите по сторонам, вперед, под ноги. У вас на ногах американские башмаки? Да здравствуют американские башмаки! Вот искусство: красный автомобиль, гуттаперчевая шина, пуд бензину и сто двадцать верст в час. Это возбуждает меня пожирать пространство. Вот искусство: афиша в шестнадцать аршин и на ней некий шикар- ный молодой человек в сияющем, как солнце, цилиндре. Это портной, художник, гений сегодняшнего дня! Я хочу пожирать жизнь, а вы меня потчуете сахарной водицей для страдающих половым бессилием...»

В конце узкого зала, за стульями, где тесно стояла молодежь с курсов и университета, раздался смех и хлопки. Говоривший, Петр Петрович Сапожков, усмехаясь влажным ртом, надвинул на большой нос прыгающее пенсне и бойко сошел по ступеням большой дубовой кафедры.

Сбоку ее, за длинным столом, освещенным двумя пятисвеч- ными канделябрами, сидели члены общества «Философские вечера». Здесь были и председатель общества, профессор бо- гословия Антоновский, и сегодняшний докладчик — историк Вельяминов, и философ Борский, и лукавый писатель Саку- нин.

Общество «Философские вечера» в эту зиму выдерживало сильный натиск со стороны мало кому известных, но зубастых молодых людей. Они напали на маститых писателей и по- чтенных философов с такой яростью и говорили такие дерзкие и соблазнительные вещи, что старый особняк на Фонтанке, где помещалось общество, по субботам, в дни открытых заседаний, бывал переполнен.

Так было и сегодня. Когда Сапожков при рассыпавшихся хлопках исчез в толпе, на кафедру поднялся небольшого роста человек с шишковатым, стриженным черепом, с молодым, скула- стым и желтым лицом, — Акундин. Появился он здесь недавно, успех, в особенности в задних рядах зрительного зала, бывал у него огромный, и, когда спрашивали — откуда и кто такой? — знающие люди загадочно улыбались. Во всяком случае, фамилия была ему не Акундин, приехал он из заграницы и выступал не- спроста.

Пощипывая редкую бородку, Акундин оглядел затихшее залo, усмехнулся тонкой полосой губ и начал говорить.

В это время, в третьем ряду кресел, у среднего прохода, подпе- рев кулачком подбородок, сидела молодая девушка в суконном черном платье, закрытом до шеи. Ее пепельные, тонкие волосы были подняты над ушами, завернуты в большой узел и сколоты гребнем. Не шевелясь и не улыбаясь, она разглядывала сидящих

за зеленым столом, иногда ее глаза подолгу останавливались на огоньках свечей.

Когда Акундин, стукнув сухоньким кулачком по дубовой кафедре, воскликнул: «Мировая экономика наносит первый удар железного кулака по церковному куполу», — девушка вздохнула не сильно и, приняв кулачок от покрасневшего снизу подбородка, положила в рот карамель.

Акундин говорил:

«...А вы все еще грезите туманными снами о царствии Божиим на земле. Здесь еще похрапывают и глядят сны, бормочут сквозь сон о мессианстве. А он, несмотря на все усилия, продолжает спать. Или вы надеетесь, что он все-таки проснется и заговорит, как валаамова ослица? Да, он проснется, но разбудят его не сладкие голоса ваших поэтов, не дым из камильниц, — народ могут разбудить только фабричные свистки. Он проснется и заговорит, но не о мессианстве, а о справедливости, и голос его будет неприятен для слуха. Или вы надеетесь на ваши дебри и болота? Здесь можно подремать еще с полстолетия, верно. Но не называйте это мессианством. Это не то, что грядет, а то, что уходит, как тень по земле. Здесь в Петербурге, в этом великолепном зале выдумали русского мужика. Написали о нем сотни томов и сочинили оперы. Игра в тени на стене. Боюсь только, как бы эта забава не окончилась большою кровью...»

Но здесь председатель остановил говорившего. Акундин слабо улыбнулся, вытащил из пиджака большой грязный платок и вытер привычным движением череп и лицо. В конце зала раздалась голоса:

- Пускай говорит!
- Безобразие закрывать человеку рот!
- Это издевательство!
- Тише вы, там сзади!
- Сами вы тише!

Акундин продолжал:

«...Русский мужик — точка приложения идей. Да. Но если эти идеи органически не связаны с его инстинктами, с его вековыми желаниями, с его первобытным понятием о справедливости, понятием всечеловеческим, то идеи падают, как семена на камень. И до тех пор, покауда не станут рассматривать русского мужика просто как человека с голодным желудком и натертым работою хребтом, покауда не лишат его, наконец, когда-то каким-то баринном придуманных мессианских его особенностей, до тех пор будут трагически существовать два полюса, — ваши великолепные идеи, рожденные в темноте кабинетов; и жадная, полужверинная жизнь. Мы критикуем вас не по существу. Было бы странно терять время на пересмотр этой феноменальной груды — челове-

ческой фантазии. Нет. Мы говорим — идите и претворяйте идеи в жизнь. Не ждите и не философствуйте. Делайте опыт. Пусть он будет отчаянным. И тогда вы увидите, с какими идеями и как вам нужно идти...»

Девушка в черном суконном платье не была расположена вдумываться в то, что говорилось с дубовой кафедры. Ей казалось, что все эти слова и споры, конечно, очень важны и многозначительны, но самое важное, в конце концов, у этих людей в том, что, например, Акундин, — она в этом уверена, — никого на свете, кроме себя, не любит, и если ему нужно для доказательства своей идеи, то и пристрелит человека.

Когда она так думала, за зеленым столом появился новый человек. Он не спеша сел рядом с председателем, кивнул направо и налево, провел покрасневшей рукой по русым волосам, мокрым от снега, пальцы вытер о платок и, спрятав под стол руки, выпрямился, в очень узком, черном сюртуке: худое, матовое лицо, брови дугами, под ними, в тених, огромные серые глаза, и волосы, падающие шапкой. Точно таким Алексей Алексеевич Бессонов был изображен в последнем номере еженедельного журнала.

Девушка не видела теперь ничего, кроме этого почти отталкивающе-красивого лица. Она словно с ужасом внимала этим странным чертам, так часто сновившимся ей в ветреные петербургские ночи.

Вот он, наклонившись ухом к соседу, усмехнулся, и улыбка простоватая, но в вырезах тонких ноздрей, в слишком женственных бровях, в какой-то особой нежной силе этого лица было вероломство, надменность и еще то, чего она понять не могла, но что волновало ее всего сильнее.

В это время докладчик Вельяминов, красный и бородатый, в золотых очках и с пучками золотисто-седых волос вокруг большого черепа, отвечал Акундину:

«...Вы правы так же, как права лавина, когда обрушивается с гор. Мы давно ждем пришествия страшного века, предугадываем торжество вашей правды. Вы овладеете стихией, а не мы. Но мы не подопрем плечами вашу лавину. Мы знаем — когда она докатится до дна, до земли, — сила ее иссякнет, и высшая справедливость, на завоевание которой вы скликаете фабричными гудками, окажется грудой обломков, хаосом, где будет бродить оглушенный человек. “Жажду” — вот что скажет он, потому что в нем самом не окажется ни капли влаги. И вы не дадите ему пить. Берегитесь, — Вельяминов поднял длинный, как карандаш, палец и строго через очки посмотрел на ряды слушателей, — в раю, который вам грезится, во имя которого вы хотите превратить живого человека в силлогизм, одетый в шляпу,

пиджак и с винтовкой за плечами, в этом страшном раю грозит новая революция, — быть может, самая страшная из всех революций — революция Духа...»

Акундин холодно проговорил с места:

— Это предусмотрено...

Вельяминов развел над столом руками. Канделябр бросал блики на его лысину. Он стал говорить о грехе, в который отпадает мир, и о будущей страшной расплате. В зале покашливали.

Во время перерыва девушка пошла в буфетную и стояла у дверей, нахмуренная и независимая. Несколько присяжных поверенных с женами пили чай и громче, чем все люди, разговаривали. У печки знаменитый писатель, Чернобылин, ел рыбу с брусничкой и поминутно оглядывался злыми, пьяными глазами на проходящих. Две средних лет литературные дамы, с грязными шеями и большими бантами в волосах, жевали бутерброды у буфетного прилавка. В стороне, не смешиваясь со светскими, благообразно стояли батюшки. Под люстрой, заложив руки сзади под длинный сюртук, покачивался на каблуках полуседой человек с подчеркнута растрепанными волосами — Чирва — критик, ждал, когда к нему кто-нибудь подойдет. Появился Вельяминов; одна из литературных дам бросилась к нему и вцепилась в рукав, который он во время разговора осторожно, но тщетно старался выпростать. Другая литературная дама вдруг перестала жевать, тоже отряхнула крошки, нагнула голову, расширила глаза. К ней подходил Бессонов, кланяясь направо и налево смиренным наклонением головы.

Девушка в черном всей своей кожей почувствовала, как подобралась под корсетом литературная дама, впала в фальшивое состояние. Бессонов говорил ей что-то с ленивой усмешкой. Она всплеснула полными руками и захохотала, подкатывая глаза.

Девушка дернула плечиком и пошла из буфета. Ее окликнули. Сквозь толпу к ней протискивался черноватый, истощенный юноша, в бархатной куртке, радостно кивал, от удовольствия морщил нос и взял ее за руку. Его ладонь была влажная, и на лбу влажная прядь волос, и влажные, длинные, черные глаза засматривали с мокрой нежностью. Его звали Александр Иванович Жиров. Он сказал:

— Вот? Что вы тут делаете, Дарья Дмитриевна?

— То же, что и вы, — ответила она, освобождая руку, сунула ее в муфту и там вытерла о платок.

Он захихикал и, глядя еще нежнее, сказал:

— Неужели и на этот раз вам не понравился Сапожков? Он говорил сегодня, как пророк. Вас раздражает его резкость и своеобразная манера выражаться. Но самая сущность его мысли, —

разве это не то, чего мы все втайне хотим, но сказать боимся? А он смеет. Вот его последний стишок:

Каждый молод, молод, молод.
В животе чертовский голод.
Будем лопать пустоту..

— Необыкновенно, ново и смело. Дарья Дмитриевна, разве вы сами не чувствуете, — новое, новое прет! Наше, новое, жадное, смелое. Вот, тоже и Акундин. Он слишком логичен, но как вбивает гвозди! Еще две, три таких зимы, и все затрещит, полезет по швам, — очень хорошо!

Он говорил тихим голосом, сладко и нежно улыбаясь, Даша чувствовала, как все в нем дрожит мелкой дрожью, точно от ужасного возбуждения. Она не дослушала, кивнула головой и стала протискиваться к вешалке.

Сердитый швейцар с медалями, таская вороха шуб и калош, не обращал внимания на Дашин протянутый номерок. Ждать пришлось долго, в ноги дуло из пустых, с махающими дверями, сеней, где стояли рослые, в синих мокрых кафтанах, мужики-извозчики и весело и нагло предлагались выходящим:

— Вот на резвой, ваше сясь!

— Вот, по пути, на Пески!

Вдруг за Дашинной спиной голос Бессонова проговорил раздельно и холодно:

— Швейцар, шубу, шапку и трость.

Даша почувствовала, как легонькие иголки пошли по спине. Она быстро повернула голову и прямо взглянула Бессонову в глаза. Он встретил ее взгляд спокойно, как должное, но затем веки его дрогнули, в серых глазах появилась живая влага, они словно подались, и Даша почувствовала, как у нее затрепетало сердце.

— Если не ошибаюсь, — проговорил он, наклоняясь к ней, — мы встречались у вашей сестры?

Даша сейчас же ответила дерзко:

— Да. Встречались.

Выдернула у швейцара шубу и побежала к парадным дверям. На улице мокрый и студёный ветер подхватил ее платье, обдал ржавыми каплями. Даша до глаз закуталась в меховой воротник. Кто-то, перегоняя, проговорил над ухом:

— Ай да глазки!

Даша быстро шла по мокрому асфальту, по лиловым, зыбким полосам электрического света. Из распахнувшейся двери ресторана вырвались вопли скрипок, — вальс. И Даша, не оглядываясь, пропела в косматый мех муфты:

— Ну, не так-то легко, не легко, не легко!

III

Расстегивая в прихожей мокрую шубу, Даша спросила у горничной:

— Дома никого нет, конечно?

Великий Могол, — так называли горничную Лушу за широко-скулое, как у идола, всегда сильно напудренное лицо, — глядя в зеркало, ответила тонким голосом, что барыни, действительно, дома нет, а барин дома, в кабинете, и ужинать будет через полчаса.

Даша прошла в гостиную, села у рояля, положила ногу на ногу и охватила колено.

Зять, Николай Иванович, дома, — значит, поссорился с женой, надутый и будет жаловаться. Сейчас — одиннадцать, и часов до трех, покуда не заснешь, делать нечего. Читать, но что? И охоты нет. Просто сидеть, думать, — себе дороже станет. Вот, в самом деле, как жить иногда неуютно!

Даша вздохнула, открыла крышку рояля и, сидя боком, одною рукою начала разбирать Скрябина. Трудновато приходится человеку в таком неудобном возрасте, как девятнадцать лет, да еще девушке, да еще очень и очень неглупой, да еще по нелепой какой-то чистоплотности слишком суровой с теми, — а их было не мало, — кто выражал охоту развеивать девичью скуку.

В прошлом году Даша приехала из Самары в Петербург на юридические курсы и поселилась у старшей сестры, Екатерины Дмитриевны Смоковниковой. Муж ее был адвокат, довольно известный; жили они шумно и широко.

Даша была моложе сестры лет на пять; когда Екатерина Дмитриевна выходила замуж — Даша была еще девочкой; последние годы сестры мало видались, и теперь между ними начались новые отношения: у Даши влюбленные, у Екатерины Дмитриевны — нежно-любовные.

Первое время Даша подражала сестре во всем, восхищалась ее красотой, вкусами, умением вести себя с людьми. Знакомых сестры она робела, иным от застенчивости говорила дерзости. Екатерина Дмитриевна старалась, чтобы дом ее был всегда образцом вкуса и новизны, еще не ставшей достоянием улицы; она не пропускала ни одной выставки и покупала футуристические картины. В последний год из-за этого у нее происходили бурные разговоры с мужем, потому что Николай Иванович любил живопись идейную, а Екатерина Дмитриевна со всей женской пылкостью решила лучше пострадать за новое искусство, чем прослыть отсталой.

Даша тоже восхищалась этими странными картинами, развешанными в гостиной, хотя с огорчением думала иногда, что

квадратные фигуры, с геометрическими лицами, с большим, чем нужно, количеством рук и ног, глухие краски, как головная боль, — вся эта фабричная, чугунная, циничная поэзия восставшей против Господа Бога прогорклой улицы слишком высока для ее тупого воображения.

Каждый вторник у Смоковниковых, в столовой из птичьего глаза, собиралось к ужину шумное и веселое общество. Здесь были разговорчивые адвокаты, женолюбивые и внимательно следящие за литературными течениями; два или три журналиста, прекрасно понимающие, как нужно вести внутреннюю и внешнюю политику; нервно расстроенный критик Чирва, подготавливавший очередную литературную катастрофу. Иногда, спозаранку, приходили молодые поэты, оставлявшие тетради со стихами в прихожей, в пальто. К началу ужина в гостиной появлялась какая-нибудь знаменитость, шла не спеша приложиться к хозяйке и с достоинством усаживалась в кресле. В середине ужина бывало слышно, как в прихожей с грохотом снимали кожаные калоши, и бархатный голос произносил:

«Приветствую тебя, Великий Могол!» — и затем над стулом хозяйки склонялось бритое, с отвислыми жабрами, лицо любовника-резонера.

«Катюша, — говорил он каждый раз, — с нынешнего дня дал зарок, не пью, честное слово».

Главным человеком для Даши во время этих ужинов была сестра. Даша негодовала на тех, кто был мало внимателен к милой, доброй и простодушной Екатерине Дмитриевне, к тем же, кто бывал слишком внимателен, ревновала, — глядела на виновного злыми глазами.

Понемногу она начала разбираться в этом кружащем непривычную голову множестве лиц. Помощников присяжных поверенных она теперь презирала: у них, кроме мохнатых визиток, лиловых галстуков да проборов через всю голову, ничего не было важного за душой. Любовника-резонера она ненавидела: он не имел права сестру звать Катей, Великого Могола — Великим Моголом, не имел никакого основания, выпивая рюмку водки, щурить отвислый глаз на Дашу и приговаривать: «Пью за цветущий миндаль!»

Каждый раз при этом Даша задыхалась от злости.

Щеки у ней, действительно, были румяные, и ничем этот проклятый миндальный цвет согнать было нельзя, и Даша чувствовала себя за столом вроде деревянной матрешки.

На лето Даша не поехала к отцу в пыльную и знойную Самару, а с радостью согласилась остаться у сестры на взморье, в Сестроречке. Там были те же люди, что и зимой, только все виделись чаще, катались на лодках, купались, ели мороженое в сосновом

бору, слушали по вечерам музыку и шумно ужинали на веранде курзала, под звездами.

Екатерина Дмитриевна заказала Даше белое, вышитое гладью, платье, большую шляпу из розового газа с черной лентой и широкий шелковый пояс, чтобы завязывать большим бантом на спине, и в Дашу, неожиданно, точно ему вдруг раскрыли глаза, влюбился помощник зятя — Куличек.

Но он был из «презираемых». Даша возмутилась, позвала его в лес, и там, не дав ему сказать в оправдание ни одного слова (он только вытирался платком, скомканным в кулаке), наговорила, что она не позволит смотреть на себя, как на какую-то «самку», что она оскорблена и возмущена, считает его личностью с развращенным воображением и сегодня же пожалуется зятю.

Зятю она нажаловалась в тот же вечер. Николай Иванович выслушал ее до конца, поглаживая холеную бороду и с удивлением взглядывая на миндальные от негодования Дашины щеки, на гневно дрожащую большую шляпу, на всю тонкую, беленькую Дашину фигуру, затем сел на песок у воды и начал хохотать; вынул платок, вытирал глаза, приговаривал:

— Уйди, Дарья, уйди, умру!

Даша ушла, ничего не понимая, смущенная и расстроенная. Куличек теперь не смел даже глядеть на нее, худел и уединялся. Дашина честь была спасена. Но вся эта история неожиданно взволновала в ней девственно дремавшие чувства. Нарушилось тонкое равновесие, точно во всем Дашином теле, от волос до пяток, зачался какой-то второй человек, душный, мечтательный, бесформенный и противный. Даша чувствовала его всей своей кожей и мучилась, как от нечистоты; ей хотелось смыть с себя эту невидимую паутину, вновь стать свежей, прохладной, легкой.

Теперь по целым часам она играла в теннис, по два раза на дню купалась, вставала ранним утром, когда на листьях еще горели большие капли росы, от лилового, как зеркало, моря шел пар, и на пустой веранде расставляли влажные столы, мели сырые песчаные дорожки.

Но, пригревшись на солнышке, или ночью в мягкой постели, второй человек оживал, осторожно пробирался к сердцу и сжимал его мягкой лапкой. Его нельзя было ни отодрать, ни смыть с себя, как кровь с заколдованного ключа Синея Бороды.

Все знакомые, а первая сестра, стали находить, что Даша очень похорошела за это лето и словно хорошеет с каждым днем. Однажды Екатерина Дмитриевна, зайдя утром к сестре, сказала:

— Что же это с нами дальше-то будет?

— А что, Катя?

Даша в рубашке сидела на постели, закручивая большим узлом волосы.

— Уж очень хорошеешь, — что дальше-то будем делать? Даша строгими, «мохнатыми», глазами поглядела на сестру и отвернулась. Ее щека и ухо залились румянцем:

— Катя, я не хочу, чтобы ты так говорила, мне это неприятно, понимаешь?

Екатерина Дмитриевна села на кровать, щекою прижалась к Дашиной голой спине и засмеялась, целуя между лопатками:

— Какие мы рогатые уродились, ни в ерша, ни в ежа, ни в дикую кошку.

Однажды на теннисной площадке появился англичанин, — худой, бритый, с выдававшимся подбородком и детскими глазами. Одет он был до того безукоризненно, что несколько молодых людей из свиты Екатерины Дмитриевны впали в уныние. Даше он предложил партию и играл, как машина. Даше казалось, что он за все время ни разу на нее не взглянул, — глядел мимо. Она проиграла и предложила вторую партию. Чтобы было ловчее, — засучила рукава белой блузки. Из-под пикейной ее шапочки выбилась прядь волос, она ее не поправляла. Отбивая сильным дрейфом над самую сеткою мяч, думала: «Вот — ловкая русская девушка, с неуловимой грацией во всех движениях, и румянец ей к лицу».

Англичанин выиграл и на этот раз, поклонился Даше, надел канотье, — был он совсем сухой, — закурил душистую папироску и сел невдалеке, спросив лимонаду.

Играя третью партию со знаменитым гимназистом, Даша несколько раз косилась в сторону англичанина, — он сидел за столиком, охватив у щиколотки ногу в шелковом носке, положенную на колено, сдвинул соломенную шляпу на затылок и, не оборачиваясь, глядел на море.

Ночью, лежа в постели, Даша все это припомнила, ясно увидела себя, прыгающую по площадке, красную, с выбившимся клоком волос, и расплакалась от стыда, от самолюбия и еще от чего-то, бывшего сильнее ее самой.

С этого дня она перестала ходить на теннис. Однажды Екатерина Дмитриевна ей сказала:

— Даша, мистер Беильс о тебе справляется каждый день, — почему ты не играешь?

Даша раскрыла рот — до того вдруг испугалась. Затем с гневом сказала, что не желает слушать «глупых сплетен», что никакого мистера Беильса не знает и знать не хочет, и он, вообще, ведет себя нагло, если думает, будто она из-за него не играет в «этот дурацкий теннис». Даша отказалась от обеда, взяла в карман хлеба и крижовнику и ушла в лес, и в пахнущем горячею смолою

сосновом бору, бродя между высоких и красных стволов, шумящих вершинами, решила, что нет больше возможности скрывать жалкую истину: влюблена в англичанина, несчастна, и нет охоты жить.

Так, понемногу, поднимал голову, вырастал в Даше второй человек. Вначале его присутствие было отвратительно, как нечистота, болезненно, как разрушение. Затем Даша привыкла к этому сложному состоянию, как привыкают после лета, свежего ветра, прохладной воды затягиваться зимою в корсет и суконное платье.

Две недели продолжалась ее самолюбивая, «рогатая» влюбленность в англичанина. Даша ненавидела себя и негодовала на этого человека. Несколько раз издали видела, как он лениво и ловко играл в теннис, как ужинал с русскими моряками, и в отчаянии думала, что он самый обаятельный человек на свете.

А потом появилась около него высокая, худая девушка, одетая в белую фланель, — англичанка, его невеста, — и они уехали. Даша не спала целую ночь, возненавидела себя лютым отвращением и под утро решила, что пусть это будет ее последней ошибкой в жизни.

На этом она успокоилась, а потом ей стало даже удивительно, как все это скоро и легко прошло. Но прошло не все: Даша чувствовала теперь, как тот — второй человек — точно слился с ней, растворился в ней, исчез, и она теперь вся другая — и легкая и свежая, как прежде, но точно вся стала мягче, нежнее, непонятнее, и словно кожа стала тоньше, и лица своего она не узнавала в зеркале, и особенно другими стали глаза, замечательные глаза, посмотришь в них — голова закружится.

В середине августа Смоковниковы вместе с Дашей переехали в Петербург, в свою большую квартиру на Знаменской. Снова начались вторники, выставки картин, громкие премьеры в театрах и скандальные процессы в суде, покупки картин, увлечение стариной, поездки на всю ночь в Самарканд к цыганам. Опять появился любовник-резонер, скинувший на минеральных водах двадцать три фунта весу, и ко всем этим беспокойным удовольствиям прибавились неопределенные, тревожные и радостные слухи о том, что готовится какая-то перемена.

Даше некогда было теперь ни думать, ни чувствовать помногу: утром лекции, в четыре — прогулка с сестрой и магазины, вечером — театры, концерты, ужины, люди, — ни минуты побыть в тишине.

В один из вторников, после ужина, когда пили ликеры, в гостиную вошел Алексей Алексеевич Бессонов. Увидев его в дверях, Екатерина Дмитриевна залилась яркой краской. Общий

разговор прервался. Бессонов сел на диван и принял из рук Екатерины Дмитриевны чашку с кофеом.

К нему подсели знатоки литературы — два присяжных повенных, но он, глядя на хозяйку длинным, странным взором, неожиданно заговорил о том, что искусства, вообще, никакого нет, а есть шарлатанство, факирский фокус, когда обезьяна лезет на небо по веревке.

«Никакой поэзии нет. Все давным-давно умерло — и люди, и искусство. А Россия — падаль, и стаи воронов на ней, на вороньем пиру. А те, кто пишет стихи, все будут в аду».

Он говорил негромко, глуховатым голосом. На злом бледном лице его розовели два пятна. Мягкий воротник был помят, и сюртук засыпан пеплом. Из чашечки, которую он держал в руке, лился кофе на ковер.

Знатоки литературы затеяли было спор, но Бессонов не слушал их, следил потемневшими глазами за Екатериной Дмитриевной. Затем поднялся, подошел к ней, и Даша слышала, как он сказал:

— Я плохо переносу общество людей. Позвольте мне уйти.

Она робко попросила его почитать. Он замотал головой и, прощаясь, так долго оставался прижатым к руке Екатерины Дмитриевны, что у нее порозовела спина.

После его ухода начался спор. Мужчины единодушно высказались: «Все-таки есть некоторые границы, и нельзя уж так явно презирать наше общество». Критик Чирва подходил ко всем и повторял: «Господа, он был пьян, в лоск». Дамы же решили: «Пьян ли был Бессонов, или просто в своеобразном настроении, — все равно он волнующий человек, пусть это всем будет известно».

На следующий день, за обедом, Даша сказала, что Бессонов ей представляется одним из тех «подлинных» людей, чьими переживаниями, грехами, вкусами, как отраженным светом, живет, например, весь кружок Екатерины Дмитриевны. «Вот, Катя, я понимаю, как от такого человека можно голову потерять».

Николай Иванович возмутился: «Просто тебе, Даша, ударило в нос, что он знаменитость». Екатерина Дмитриевна промолчала. У Смоковниковых Бессонов больше не появлялся. Прошел слух, что он пропадает за кулисами у актрисы Чародеевой. Куличек с товарищами ходили смотреть эту самую Чародееву и были разочарованы: худа, как мощи, — одни кружевные юбки.

Однажды Даша встретила Бессонова на выставке. Он стоял у окна и равнодушно перелистывал каталог, а перед ним, как перед чучелом из паноптикума, стояли две коренастые курсистки и глядели на него с застывшими улыбками. Даша медленно прошла мимо и уже в другой зале села на стул, — неожиданно устали ноги и было, непонятно почему, грустно.

После этого Даша купила карточку Бессонова и поставила на стол. Его стихи — три белых томика — вначале произвели на нее впечатление отравы: несколько дней она ходила сама не своя, точно стала соучастницей какого-то злого и тайного дела. Но, читая их и перечитывая, она стала наслаждаться именно этим болезненным ощущением, словно ей нашептывали — забытья, обессилеть, расточить что-то драгоценное, затосковать по тому, чего никогда не бывает.

Из-за Бессонова она начала бывать на «Философских вечерах». Он приезжал туда поздно, говорил редко, но каждый раз Даша возвращалась домой переволнованная и была рада, когда дома — гости. Самолюбие ее молчало.

Сегодня пришлось в одиночестве разбирать Скрыбина. Звуки, как ледяные шарики, медленно падают в грудь, в глубь темного озера, без дна. Упав, колышут влагу и тонут, а влага приливает и отходит, и там, в горячей темноте, гулко, тревожно ударяет сердце, точно скоро, скоро, сейчас, в это мгновение должно произойти что-то невозможное.

Даша опустила руки на колени и подняла голову. В мягком свете оранжевого абажура глядели со стен на нее багровые, вспухшие, оскаленные, с выпученными глазами лица, точно призраки первозданного хаоса, жадно облепившие в первый день творения сад Господа Бога.

— Да, милостивая государыня, плохо наше дело, — сказала Даша. Слева направо стремительно проиграла гаммы, без стука закрыла крышку рояля, из японской коробочки, стоявшей на предиванном столе, вынула папироску, закурила, закашлялась и смяла ее в пепельнице.

— Николай Иванович, который час? — крикнула Даша так, чтобы было слышно через четыре комнаты. В кабинете что-то упало, но не ответили. Появилась Великий Могол и, глядя в зеркало, сказала, что ужин подан.

В столовой Даша села перед вазой с увядшими цветами и принялась их ошипывать на скатерть. Могол подала чай, холодное мясо и яичницу. Появился, наконец, Николай Иванович в новом синем костюме, но без воротника. Волосы его были растрепаны, на бороде, отогнутой влево, висела пушинка с диванной подушки.

Николай Иванович хмуро кивнул Даше, сел в конце стола, придвинул сковородку с яичницей и жадно стал есть.

Потом он облокотился о край стола, подпер большим волосатым кулаком щеку, уставился невидящими глазами на кучу оборванных лепестков и проговорил голосом низким и почти ненатуральным:

— Вчера ночью твоя сестра мне изменила.

IV

Родная сестра, Катя, сделала что-то страшное и непонятное, черного цвета. Вчера ночью ее голова лежала на подушке, отвернувшись от всего живого, родного, теплого, а тело было раздавлено, развернуто. Так, содрогаясь, чувствовала Даша то, что Николай Иванович назвал изменой. И, ко всему, Кати не было дома, точно ее на свете больше и не существует.

В первую минуту Даша обмерла, и в глазах потемнело. Не дыша, она ждала, что Николай Иванович либо зарыдает, либо закричит как-нибудь страшно. Но он ни слова не прибавил к своему сообщению и вертел в пальцах подставочку для вилок. Взглянуть ему в лицо Даша не смела.

Затем, после очень долгого молчания, он с грохотом отодвинул стул и ушел в кабинет. «Застрелится», — подумала Даша. Но и этого не случилось. С острой и мгновенной жалостью она вспомнила, какая у него была волосатая, большая и теперь «беспомощная» рука на столе. Затем он уплыл из ее зрения, и Даша только повторила: «Что же делать? Что делать?» В голове звенело, все, все, все было изуродовано и разбито.

Из-за суконной занавеси появилась Великий Могол с подносом, и Даша, взглянув на нее, вдруг поняла, что теперь никакого больше Великого Могола не будет. Слезы залили ей глаза, она крепко сжала зубы и выбежала в гостиную.

Здесь все до мелочей было с любовью расставлено и развешено Катиними руками. Но Катина душа ушла из этой комнаты, и все в ней стало диким и нежилым. Даша села на диван. Понемногу ее взгляд остановился на недавно купленной картине, в простенке над роялем. И в первый раз она увидела и поняла, что там было изображено.

Нарисована была голая женщина, гнойно-красного цвета, точно с содранной кожей. Рот — сбоку, носа не было совсем, вместо него — треугольная дырка, голова — квадратная и к ней приклеена тряпка — настоящая материя. Ноги, как поленья, на шарнирах. В руке — цветок. Остальные подробности ужасны. И самое страшное был угол, в котором она сидела раскорякой, — глухой и коричневый, такие углы, должно быть, — в аду. Картина называлась «Любовь», а Катя называла ее современной Венерой.

«Так вот почему Катя так восхищалась этой окаянной бабой. Она сама теперь такая же — с цветком, в углу». Даша легла лицом в подушку и, кусая ее, чтобы не кричать, заплакала. Некоторое время спустя в гостиной появился Николай Иванович. Расставив ноги, сердито зачиркал зажигательницей, пустил облако ды-

ма, подошел к роялю и стал тыкать в клавиши. Неожиданно вышел — «чижик». Даша похолодела. Николай Иванович хлопнул крышкой и сказал:

— Этого надо было ожидать.

Даша несколько раз про себя повторила эту фразу, стараясь понять, что она означает. Внезапно в прихожей раздался резкий звонок. Николай Иванович поднял руки, взялся за бороду, но, произнеся сдавленным голосом: «О-о-о!» — ничего не сделал и быстро ушел в кабинет. По коридору простукала, как копытами, Великий Могол. Даша соскочила с дивана, — в глазах было темно, так билось сердце, — и выбежала в прихожую.

Там неловкими от холода пальцами Екатерина Дмитриевна развязывала лиловые ленты капора и морщила носик. Сестре она подставила щеку для поцелуя, но, когда никто ее не поцеловал, тряхнула головой, сбрасывая капор, и пристально серыми глазами взглянула на сестру.

— У вас что-нибудь произошло? Вы поссорились? — спросила она низким, грудным, всегда таким очаровательно-милым голосом.

Даша стала смотреть на кожаные галоши Николая Ивановича, они назывались в доме «самоходами» и сейчас стояли сиротски. У нее дрожал подбородок:

— Нет, ничего не произошло, просто я так.

Екатерина Дмитриевна медленно расстегнула большие пуговицы беличьей шубы, движением голых плеч освободилась от нее и теперь была вся теплая, нежная и усталая. Расстегивая галоши, она низко наклонилась, говоря:

— Понимаешь, покуда наша автомобиль, промочила ноги.

Тогда Даша, продолжая смотреть на галоши Николая Ивановича, спросила сурово:

— Катя, где ты была?

— На литературном ужине, моя милая, в честь, ей-богу даже не знаю, кого. Все то же самое. Устала до смерти и хочу спать.

И она пошла в столовую. Там, бросив на скатерть кожаную сумку и вытирая платком носик, спросила:

— Кто это нащипал цветов? А где Николай Иванович, спит?

Даша была сбита с толку: сестра ни с какой стороны не походила на окаянную бабу и не только была не чужая, а чем-то особенно сегодня близкая, так бы ее всю и погладила. Но все же, с огромным присутствием духа, царапая ногтем скатерть, в том именно месте, где полчаса тому назад Николай Иванович ел яичницу, Даша сказала:

— Катя!

— Что, миленький?

— Я все знаю.

— Что ты знаешь? Что случилось, ради бога?

Екатерина Дмитриевна села к столу, коснувшись коленями Дашиных ног, и с любопытством глядела на нее, снизу вверх.

Даша сказала:

— Николай Иванович мне все открыл.

И не видела, какое было лицо у сестры, что с ней происходило.

После молчания, такого долгого, что можно было умереть, Екатерина Дмитриевна проговорила злым голосом:

— Что же такое потрясающее сообщил про меня Николай Иванович?

— Катя, ты знаешь.

— Нет, не знаю.

Она сказала это «не знаю» так, словно получился ледяной шарик.

Даша сейчас же опустила у ее ног:

— Так, может быть, это неправда? Катя, родная, милая, красивая моя сестра, скажи, — ведь это все неправда? — И Даша быстрыми поцелуями касалась Катиной нежной, пахнувшей ее духами руки, с синеватыми, как ручейки, жилками.

— Ну, конечно, неправда, — ответила Екатерина Дмитриевна, устало закрывая глаза, — а ты и плакать сейчас же. Завтра глаза будут красные и носик распухнет.

Она приподняла Дашу и надолго прижалась губами к ее волосам.

— Слушай, я дура! — прошептала Даша в ее грудь. В это время громкий и отчетливый голос Николая Ивановича проговорил за дверью кабинета:

— Она лжет!

Сестры быстро обернулись, но дверь была затворена. Екатерина Дмитриевна сказала:

— Иди-ка ты спать, ребенок. А я пойду выяснять отношения. Вот удовольствие, в самом деле, — едва на ногах стою.

Она проводила Дашу до ее комнаты, перекрестила, потом вернулась в столовую, где захватила сумочку, поправила гребень и тихо, пальцем, постучала в дверь кабинета:

— Николай, отвори, пожалуйста.

На это ничего не ответили. Было зловещее молчание, затем фыркнул нос, повернули ключ, и Екатерина Дмитриевна, войдя, увидела широкую спину мужа, который, не оборачиваясь, шел к столу, сел в кожаное кресло, положил локти на подлокотники, взял слоновой кости нож и резко провел им вдоль разгиба книги (роман Вассермана «Сорокалетний мужчина»).

Все это делалось так, будто Екатерины Дмитриевны в комнате нет.

Она же села на диван, одернула юбку на ногах и, спрятав носовой платочек в сумку, щелкнула замком. При этом у Николая Ивановича вздрогнул клок волос на макушке.

— Я не понимаю только одного, — сказала она, — ты волен думать все, что тебе угодно, но прошу Дашу в свои настроения не посвящать.

Тогда он живо повернулся в кресле, вытянул шею и бороду и проговорил, не разжимая зубов:

— У тебя хватает развязности называть это моим настроением?

— Не понимаю.

— Превосходно! Ты не понимаешь? Ну а вести себя, как уличная женщина, кажется, очень понимаешь?

Екатерина Дмитриевна немного только раскрыла рот на эти слова. Глядя в побагровевшее до пота, обезображенное злостью лицо мужа, она проговорила тихо:

— С каких пор, скажи, ты начал говорить со мной неуважительно?

— Покорнейше прошу извинить! Но другим тоном я разговаривать не умею. Одним словом, я желаю знать подробности.

— Какие подробности?

— Не лги мне в глаза.

— Ах, вот ты о чем. — Екатерина Дмитриевна закатила, как от последней усталости, большие глаза свои. — Давеча я тебе сказала что-то такое... Я и забыла совсем.

— Я хочу знать — с кем это произошло?

— А я не знаю.

— Еще раз прошу не лгать...

— А я не лгу. Охота тебе лгать. Ну, сказала. Мало ли что я говорю со зла. Сказала и забыла.

Во время этих слов лицо Николая Ивановича было как каменное, но сердце его нырнуло и задрожало от радости: «Слава богу, наврала на себя». Зато теперь можно было безопасно и шумно ничему не верить, — отвести душу.

Он поднялся с кресла и, шагая по ковру, останавливаясь и разрезая воздух взмахами костяного ножа, заговорил о падении семьи, о растлении нравственности, о священных, ныне забытых, обязанностях женщины, жены, матери своих детей, помощницы мужа. Он упрекал Екатерину Дмитриевну в душевной пустоте, в легкомысленной трате денег, заработанных кровью («не кровью, а трепанием языка» — поправила Екатерина Дмитриевна). Нет, больше, чем кровью, — тратой нервов. Он попрекал ее беспорядочным подбором знакомых, беспорядком в доме, пристрастием к «этой идиотке» Великому Моголу и даже «омерзительными картинами, от которых меня тошнит в вашей мешанской гостиной».

Словом, Николай Иванович отвел душу.

Был четвертый час утра. Когда муж охрип и замолчал, Екатерина Дмитриевна сказала:

— Ничего не может быть противнее толстого и истерического мужчины. — Поднялась и ушла в спальню.

Но Николай Иванович теперь даже не обиделся на эти слова. Медленно раздевшись, он повесил платье на спинку стула, завел часы и с легким вздохом влез в свежую постель, с вечера еще посланную на кожаном диване.

«Да, живем плохо. Надо перестроить всю жизнь. Нехорошо, нехорошо», — подумал он, раскрывая книгу, чтобы для успокоения почитать на сон грядущий. Но сейчас же опустил ее и прислушался. В доме было тихо. Кто-то высморкался, и от этого звука забилося сердце. «Плачет, — подумал он, — ай, ай, ай, кажется, я наговорил лишнего».

И, когда он стал вспоминать весь разговор и то, как Катя сидела и слушала, ему стало ее жалко. Он приподнялся на локте, уже готовый вылезти из-под одеяла, но по всему телу поползла истома, точно от многодневной усталости, он уронил голову и уснул.

Даша, оставшись одна в своей чистенько прибранной комнате, вынула из волос гребень, помотала головой так, что сразу вылетели все шпильки, разбросала по стульям платье и белье, влезла в белую постель и, закрывшись до подбородка, зажмурилась. «Господи, все хорошо! Теперь ни о чем не думать, спать». Из угла глаза выплыла какая-то смешная рожица. Даша улыбнулась, подогнула колени и обхватила подушку. Темный, сладкий сон покрыв ее, и вдруг, явственно, в памяти раздался Катин голос: «Ну, конечно, неправда». Даша открыла глаза. «Я ни одного звука, ничего не сказала Кате, только спросила — правда или неправда. Она же ответила так, точно отлично понимала, о чем идет речь». Сознание, как иглою сквозь все тело, прокололо Дашу: «Катя меня обманула!» Затем, припоминая все мелочи разговора, Катины слова и движения, Даша ясно увидела, — да, действительно, обман. Она была потрясена. Катя изменила мужу, но, изменив, согрешив, нагав, стала точно еще очаровательнее. Только слепой не заметил бы в ней чего-то нового, какой-то особой, усталой нежности. И лжет она так, что можно с ума сойти — влюбиться. Но ведь она преступница. Господи, ничего не понимаю!

Даша была разволнована и сбита с толку. Пила воду, зажигала и опять тушила лампочку и до утра ворочалась в постели, чувствуя, что не может ни осудить Катю, ни понять того, что она сделала.

Екатерина Дмитриевна тоже не могла заснуть в эту ночь. Она лежала на спине, без сил, протянув руки поверх шелкового оде-

яла, и, не вытирая слез, плакала о том, что ей смутно, нехорошо и нечисто, и она ничего не может сделать, чтобы было не так, и никогда не будет такой, как Даша — пылкой и строгой, и еще плакала о том, что Николай Иванович назвал ее уличной женщиной и сказал про гостиную, что это — мещанская гостиная. И уже горько заплакала о том, что Алексей Алексеевич Бессонов вчера в полночь завез ее на лихом извозчике в загородную гостиницу и там, не зная, не любя, не чувствуя ничего, что было у нее близкого и родного, омерзительно и не спеша овладел ею так, будто она была куклой, розовой куклой, выставленной на Морской, в магазине парижских мод мадам Дюклэ.

V

На Васильевском острове в только что отстроенном доме, по 19-й линии, на пятом этаже, помещалась так называемая «Центральная станция для борьбы с бытом», в квартире инженера Ивана Ильича Телегина.

Телегин снял эту квартиру под «обжитье» на год по дешевой цене. Себе он оставил одну комнату, остальные же, меблированные железными кроватями, сосновыми столами и табуретками, сдал, с тем расчетом, чтобы поселились жильцы — тоже холостые и непременно веселые. Таких ему сейчас же и подыскал его бывший одноклассник и приятель Петр Петрович Сапожков.

Это были — студент юридического факультета Александр Иванович Жиров, хроникер и журналист Антошка Арнольдов, художник Валет и молодая девица Елизавета Расторгуева, не нашедшая еще себе в жизни занятия по вкусу.

Жильцы вставали поздно, когда Телегин приезжал с завода завтракать, и не спеша принимались каждый за свои занятия. Антошка Арнольдов уезжал на трамвае на Невский, в кофейню, где узнавал новости и сочинял статьи. Валет обычно садился писать свой автопортрет. Сапожков запирался на ключ работать, — готовил речи и статьи о новом искусстве. Жиров пробирался к Елизавете Киевне и мягким, мяукающим голосом обсуждал с ней вопросы жизни. Он писал стихи, но из самолюбия никому их не показывал. Елизавета Киевна считала его гениальным.

Елизавета Киевна, кроме разговоров с Жировым и другими жильцами, занималась вязанием из разноцветной шерсти квадратов, не имеющих определенного назначения, причем пела грудным, сильным и фальшивым голосом малороссийские песни, или устраивала себе необыкновенные прически, или, бросив петь и распустив волосы, ложилась на кровать с книгой, — засасывалась в чтение до головных болей. Елизавета Киевна была

красивая, рослая и румяная девушка, с близорукими, точно нарисованными, глазами, и одевавшаяся с таким безвкусием, что ее ругали за это даже телегинские жильцы.

Когда в доме появлялся новый человек, она зазывала его к себе, и начинался головокружительный разговор, весь построенный на остриях и безднах, причем она выпытывала — нет ли у ее собеседника жажды к преступлению? способен ли он, например, из-за одного любопытства убить? не ощущает ли в себе «самопровокации»? — это свойство она считала признаком всякого замечательного человека.

Телегинские жильцы даже прибили на дверях у нее таблицу этих вопросов; она была очень довольна и много хохотала. В общем, это была неудовлетворенная девушка, и все ждала каких-то «переворотов», «кошмарных событий», которые сделают жизнь увлекательной, такой, чтобы жить во весь дух, а не томиться с распущенными волосами.

Сам Телегин немало потешался над своими жильцами, считал их отличными людьми и чудаками, но за недостатком времени мало принимал участия в их развлечениях.

Однажды, на Рождестве, Петр Петрович Сапожков собрал жильцов и сказал им следующее:

— Товарищи, настало время действовать. Нас много, но мы распылены. До сих пор мы выступали разрозненно и робко. Мы должны составить фалангу и нанести удар буржуазному обществу. Для этого, во-первых, мы фиксируем вот эту инициативную группу, затем выпускаем прокламацию, вот она: «Мы новые Колумбы! Мы гениальные возбудители! Мы семена нового человечества! Мы требуем от заплывшего жиром буржуазного общества отмены всех предрассудков. Отныне нет добродетели! Семья, общественные приличия, браки — отменяются. Мы этого требуем. Человек, — мужчина и женщина, — должен быть голым и свободным. Половые отношения есть достояние общества. Юноши и девушки, мужчины и женщины, вылезайте из насиженных логовищ, идите, нагие и счастливые, в хоровод под солнце дикого зверя!..»

Затем Сапожков сказал, что необходимо издавать футуристический журнал под названием «Блюда Богов», деньги на который отчасти даст Телегин, остальные нужно вырвать из пасти буржуев, — всего три тысячи.

Так была создана «Центральная станция по борьбе с бытом», название, придуманное Телегиным, когда, вернувшись с завода, он до слез хохотал над проектом Сапожкова. Немедленно было приступлено к изданию первого номера «Блюда Богов». Несколько богатых меценатов, адвокаты и даже сам Сашка Сакельман, с охотой, словно боясь, что их заподозрят в отсталости,

дали требуемую сумму — три тысячи. Были заказаны бланки, на оберточной бумаге, с непонятной надписью — «Центрифуга», и приступлено к приглашению ближайших сотрудников и сбору материала. Художник Валет подал идею, чтобы комната Сапожкова, превращенная в редакцию, была обезображена циничными рисунками. Он нарисовал на стенах двенадцать автопортретов. Долго думали о мебелировке. Наконец было решено убрать из комнаты все, кроме большого стола, оклеенного золотой бумагой: посетители пускай потрудятся стоять.

После выхода первого номера в городе заговорили о «Блюде Богов». Одни возмущались, другие утверждали, что не так-то все это просто и не пришлось бы в недалеком будущем Пушкина отослать в архив. Литературный критик Чирва растерялся, — в «Блюде Богов» его назвали сволочью. Екатерина Дмитриевна Смоковникова немедленно подписалась на журнал, на весь год, и решила устроить вторник с футуристами.

Ужинать к Смоковниковым был послан от «Центральной станции» Петр Петрович. Он появился в грязном сюртуке из зеленой бумази, взятом напрокат в театральной парикмахерской из пьесы «Манон Леско». Сапожков подчеркнуто много ел за ужином, смеялся пронзительно, так что самому было неприятно, намеревался оскорбить Чирву, но под действием «магнетических» глаз критика поколебался и лишь ограничился неприятностью хозяйке, сказав ей: «А рыбка-то у вас с душком». Затем развалился и курил, поправляя пенсне на мокром носу. В общем, все ожидали большего.

После выхода второго номера решено было устраивать вечера под названием «Великолепные кощунства». На одно из таких кощунств пришла Даша.

Парадную дверь ей отворил Жиров и сразу засуетился, стаскивая с Даши ботики, шубу, снял даже какую-то ниточку с суконного ее платья. Дашу удивило, что в прихожей пахнет капустой и во всех углах лежит что-то неприбранное. Жиров, скользя бочком за ней по коридору, к месту кощунства, спросил:

— Скажите, вы какими духами душиетесь? Замечательно приятные духи какие.

Затем удивила Дашу очевидность всего этого, так нашумевшего, дерзновения. Правда, на стенах были разбросаны глаза, носы, руки, срамные фигуры, падающие небоскребы, словом, все, что составляло портрет Василия Веняминовича Валета, молча стоявшего здесь же, с нарисованными зигзагами и запятыми на щеках. Правда, хозяйева и гости, — а среди них были почти все молодые поэты, посещавшие вторники у Смоковниковых, — сидели на неструганых досках, положенных на обрубки дерева, — дар Телегина. Правда, читались преувеличенно

страстными голосами стихи про автомобили, ползущие по небесному своду, про «плевок в старого небесного сифилитика», про молодые челюсти, которыми автор разгрызал, как орехи, церковные купола, про какого-то до головной боли непонятного кузнечика, в коверкоте, с бедкером и биноклем, прыгающего из окна на мостовую. Но Даше почему-то все эти ужасы казались убогими и слишком очевидными. По-настоящему понравился ей только Телегин. Во время перерыва он подошел к Даше и спросил с застенчивой улыбкой, — не хочет ли она чаю и бутербродов:

— И чай и колбаса у нас обыкновенные, хорошие.

У него было загорелое лицо, бритое и простоватое, и добрые синие глаза чуть-чуть косили от застенчивости.

Даша подумала, что доставит ему удовольствие, если согласится, поднялась и пошла в столовую. Там, на столе, среди грязной посуды, стояли блюдо с бутербродами и помятый самовар. Телегин сейчас же собрал тарелки и поставил их прямо на пол в угол комнаты, оглянулся, ища тряпку, вытер стол носовым платком, налил Даше чаю и выбрал бутерброд «наиболее деликатный». Все это он делал не спеша, большими своими, очень сильными руками, и приговаривал, словно особенно стараясь, чтобы Даше было уютно среди этого мусора:

— Хозяйство у нас в беспорядке, это верно, но чай и колбаса первоклассные, от Елисеева. Были конфеты, но съедены, хотя, — он поджал губы и поглядел на Дашу, в синих глазах его появился испуг, затем решимость, — если позволите? — и вытащил из жилетного кармана две карамельки.

«С таким не пропадешь», — подумала Даша, и тоже, чтобы ему было приятно, сказала:

— Как раз мои любимые карамельки.

Затем Телегин, бочком присев напротив Даши, принялся внимательно глядеть на горчицицу. На его большом и широком лбу от напряжения собрались морщины. Он осторожно вытащил из кармана платок и осторожно вытер лоб.

У Даши губы сами растягивались в улыбку: этот большой, красивый человек до того в себе не уверен и застенчив, что готов спрятаться за горчицицу. У него где-нибудь в Арзамасе, — так ей показалось, — живет чистенькая старушка-мать и пишет оттуда строгие письма насчет белья, чтобы не пропало у столичных прачек, насчет его «постоянной манеры давать займы денежки разным дуракам», насчет того, что только «скромностью и прилежанием получишь, друг мой, уважение среди людей». И он, очевидно, вздыхает над этими письмами, понимая, как далеко ему до совершенства. Даша почувствовала нежность к этому человеку.

— Вы где служите? — спросила она.

Телегин сейчас же поднял глаза, увидел ее улыбку, улыбнулся сам, — понял, — подумала Даша, и ответил:

— На Обуховском заводе.

— Интересная работа у вас?

— Не знаю. По-моему — всякая работа интересна.

— Мне кажется, — рабочие должны вас очень любить.

— Вот не думал никогда об этом. Но, по-моему, не должны любить. За что им меня любить? Я с ними строг. Хотя, отношения хорошие, конечно. Товарищеские отношения.

— Скажите, — вам, действительно, нравится все, что сегодня делалось в той комнате?

Губы Ивана Ильича раздвинулись в широкую улыбку, морщины сошли со лба и он громко рассмеялся:

— Мальчишки! Хулиганы отчаянные! Замечательные мальчишки! Я своими жильцами очень доволен, Дарья Дмитриевна. Иногда в нашем деле бывают неприятности, вернешься домой расстроенным, а тут преподнесут чепуху какую-нибудь... На следующий день вспомнишь, — и смешно.

— А мне эти кощунства очень не понравились, — сказала Даша строго, — это просто гадко и нечистоплотно.

Он с удивлением посмотрел ей в глаза, она подтвердила, — «очень не понравилось».

— Разумеется, виноват прежде всего я сам, — проговорил Иван Ильич раздумчиво, — я их к этому поощрял. Действительно, пригласить гостей и весь вечер говорить непристойности... Ужасно, что вам все это было так неприятно.

Даша с улыбкою глядела ему в лицо. Она могла бы что угодно сказать этому почти незнакомому ей человеку.

— Мне представляется, Иван Ильич, что вам совсем другое должно нравиться. Мне кажется — вы очень хороший человек. Гораздо лучше, чем сами о себе думаете. Правда, правда.

Даша, облокотясь, подперла подбородок и мизинцем трогала губы. Глаза ее смеялись, а ему казались они страшными, — до того были потрясающе прекрасны: серые, большие, холодноватые. Иван Ильич, в величайшем смущении сгибая и разгибая ложку, пытался отрицать, вообще, самого себя.

На его счастье в столовую вошла Елизавета Киевна; на ней была накинута турецкая шаль и на ушах бараньими рогами закручены две косы. Даше она подала длинную, мягкую руку, представилась: «Расторгуева», — села и сказала:

— О вас много, много рассказывал Жиров. Сегодня я изучала ваше лицо. Вас коробило. Это хорошо.

— Лиза, хотите холодного чаю? — поспешно спросил Иван Ильич.

— Нет, Телегин, вы знаете, что я никогда не пью чаю... Так вот, вы думаете, конечно, что за странное существо говорит с вами? Я — никто. Ничтожество. Бездарна и неприятна в общении.

Иван Ильич, стоявший у стола, в отчаянии отвернулся. Даша опустила глаза. Елизавета Киевна, с улыбкой разглядывая ее, продолжала:

— Вы изящны, благоустроены и очень хороши собой. Не спорьте, вы это знаете сами. В вас, конечно, влюбляются десятки мужчин. Обидно думать, что все это кончится очень просто, — придет самец, возьмет вас, народите ему детей, потом умрете. Скука!

У Даши от обиды задрожали губы.

— Я и не собираюсь быть необыкновенной, — ответила она, — и не знаю, почему вас так волнует моя будущая жизнь.

Елизавета Киевна еще веселее улыбнулась, глаза же ее продолжали оставаться грустными и кроткими.

— Я же вас предупредила, что я ничтожная, как человек, и омерзительная, как женщина. Переносить меня могут очень немногие, и то из жалости, как, например, Телегин.

— Черт знает, что вы говорите, Лиза, — пробормотал он, не поднимая головы.

— Я ничего от вас не требую, Телегин, успокойтесь. — И она опять обратилась к Даше:

— Вы переживали когда-нибудь бурю? Я пережила одну бурю. Был человек, я его любила, он меня ненавидел, конечно. Я жила тогда на Черном море. Была буря. Я говорю этому человеку: «едем»... От злости он поехал со мной... Нас понесло в открытое море... Вот было весело! Чертовски весело! Он сидел весь зеленый. Я сбрасываю с себя платье и говорю ему..

— Слушайте, Лиза, — сказал Телегин, морща губы и нос, — вы врете. Ничего этого не было, я знаю.

Тогда Елизавета Киевна с непонятной улыбкой поглядела на него и вдруг начала смеяться. Положила локти на стол, спрятала в них лицо и, смеясь, вздрагивала полными плечами. Даша поднялась и сказала Телегину, что хочет домой и уедет, если можно, ни с кем не прощаясь.

Иван Ильич подал Даше шубку так осторожно, точно шубка была тоже частью Дашиного существа, сошел вниз по темной лестнице, все время зажигая спички и сокрушаясь, что так темно, ветрено и скользко, довел Дашу до угла и посадил на извозчика — старичка на старой лошадке, занесенной снегом. И долго еще стоял и смотрел, без шапки и пальто, как таяли и расплывались в желтом тумане низенькие санки с сидящей в них фигурой девушки. Потом, не спеша, вернулся домой, в

столовую. Там, у стола, все так же — лицом в руки — сидела Елизавета Киевна. Телегин почесал подбородок и проговорил, морщась:

— Лиза.

Тогда она быстро, слишком быстро, подняла голову, взглянула прямо в глаза.

— Лиза, для чего, простите меня, вы всегда заводите такой разговор, что всем делается неловко и стыдно?

— Влюбился, — негромко проговорила Елизавета Киевна, продолжая глядеть на него близорукими, грустными, точно нарисованными, глазами, — сразу вижу. Вот скука!

— Это совершенная неправда! Мне очень неприятен этот разговор.

— Ну, виновата, — она лениво встала и ушла, волоча за собой по полу пыльную турецкую шаль.

Иван Ильич походил некоторое время в задумчивости, выпил холодного чаю, потом взял стул, на котором сидела Дарья Дмитриевна, и отнес его в свою комнату. Там примерился, поставил его в угол и, взяв себя всей горстью за нос, громко рассмеялся:

— Чепуха! Вот ерунда-то!

Для Даши эта встреча была, как одна из многих, — встретила очень славного человека, и только. Даша была в том еще возрасте, когда видят и слышат плохо: слух оглушен шумом крови, а глаза повсюду, — будь даже это человеческое лицо, — видят, как в зеркале, только свое изображение. В такое время лишь уродства поражают фантазию, а красивые люди, и обольстительные пейзажи, и скромная красота искусства считаются повседневной свитой королевы в девятнадцать лет.

Не так было с Иваном Ильичом. Теперь, когда с посещения Даши прошло больше недели, ему стало казаться удивительным, как могла незаметно (он с ней не сразу даже и поздоровался) и просто (вошла, села, положила муфту на колени) появиться в их оголтелой квартире эта девушка с нежной, нежно-розовой кожей, в черном суконном платье, с высоко поднятыми пепельными волосами и гордым детским ртом. Непонятно было, как решился он спокойно говорить с ней про колбасу от Елисеева. А теплые карамелечки вытащил из кармана, предложил съесть? Мерзавец!

Иван Ильич за свою жизнь (ему недавно исполнилось двадцать девять лет) влюблялся раз шесть: еще реалистом, в Казани, — в зрелую девицу Марусю Хвоеву, дочь ветеринарного врача, давно уже и бесплодно гуляющую, все в одной и той же плюшевой шубке, по главной улице, в 4 часа; но Марусе Хвоевой

было не до шуток, Ивана Ильича отвергли, и он без предварительного перехода увлекся гастролершей Адой Тилле, поражавшей казанцев тем, что в опереттах, из какой бы эпохи ни были они, появлялась, по возможности, в костюме для морского купания, что и подчеркивалось дирекцией в афишах: «Знаменитая Ада Тилле, получившая золотой приз за красоту ног».

Иван Ильич дошел даже до того, что пробрался к ней в дом и поднес букет, нарванный в городском саду. Но Ада Тилле, сунув эти цветы понюхать какой-то лохматой собачонке, сказала Ивану Ильичу, что от местной пищи у нее совершенно испорчен желудок, и попросила его сбежать в аптеку.

Затем, уже студентом, в Петербурге, он увлекся было медиком Вильбушевич и даже ходил к ней на свиданье в анатомический театр, но, как-то само собой, из этого ничего не вышло, и Вильбушевич уехала служить в земство.

Однажды Ивана Ильича полюбила до слез, до отчаяния, модисточка из большого магазина, Зиночка, и он от смущения и душевной мягкости делал все, что ей хотелось, но, в общем, облегченно вздохнул, когда она вместе с отделением фирмы уехала в Москву, — прошло постоянное ощущение каких-то неисполненных обязательств.

Последнее нежное чувство было у него в позапрошлом году, летом, в июне. На дворе, куда выходила его комната, напротив, в окне, каждый день перед закатом, появлялась худенькая и бледная девушка и, отворив окно, старательно вытряхивала и чистила щеткой свое, всегда одно и то же, рыженькое платье. Потом надевала его и выходила посидеть в парк.

Там, в парке на Петербургской стороне, Иван Ильич и разговаривал с ней, — и с тех пор каждый вечер они гуляли вместе, хвалили петербургские закаты и беседовали.

Девушка эта, Оля Комарова, была одинокая, служила в нотариальной конторе и все хворала — кашляла. Они беседовали об этом кашле, о болезни, о том, что по вечерам тоскливо бывает одинокому человеку, и о том, что какая-то ее знакомая, Кира, полюбила хорошего человека и уехала за ним в Крым. Разговоры были скучные. Оля Комарова до того уже не верила в свое счастье, что, не стесняясь, говорила Ивану Ильичу о самых заветных мыслях, и даже о том, что иногда рассчитывает, — вдруг он полюбит ее, сойдется, увезет в Крым.

Иван Ильич очень жалел ее и уважал, но полюбить так и не мог, хотя иногда, после их беседы, лежа на диване в сумерках, думал, — какой он эгоист, сластолюбец, грубый и плохой человек.

Осенью Оля Комарова простудилась и слегла. Иван Ильич отвез ее в больницу, а оттуда на кладбище. Перед смертью она

сказала: «Если я выздоровлю, вы женитесь на мне?» — «Честное слово, женюсь», — ответил Иван Ильич.

Чувство к Даше не было похоже на те, прежние. Елизавета Киевна сказала: «Влюбился». Но влюбиться можно было во что-то предполагаемое доступным, и невозможно, например, влюбиться в статую, в облако.

К Даше было какое-то особое, незнакомое ему чувство, при том мало понятное, потому что и причин-то к нему было мало — несколько минут разговора, да стул в углу комнаты.

Чувство это было даже и не особенно острое, но Ивану Ильичу хотелось самому теперь стать другим, тоже особым, начать очень следить за собой. Он часто думал: «Мне скоро тридцать лет, а жил я до сих пор, как трава рос. Запустение страшное. Эгоизм и безразличие к людям. В общем — нечистоплотность. Надо подтянуться, пока не поздно».

В конце марта, в один из тех передовых, весенних дней, неожиданно врываются в белый от снега, тепло закутанный город, когда с утра заблестит, зазвенит капель с карнизов и крыш, зажурчит вода по водосточным трубам, верхом потекут под ними зеленые кадки, развезет на улицах снег, задымится асфальт и высохнет пятнами, когда тяжелая шуба повиснет на плечах, глядишь — а уж какой-то мужчина, с острой бородкой, идет в одном пиджачке, и все оглядываются на него, улыбаются, а поднимешь голову — небо такое бездонное и синее, словно вымыто водами, — в такой день, в половине четвертого, Иван Ильич вышел из технической конторы «Сименс и Гальске», что на Невском, расстегнул хорьковскую шубу и прищурился от солнца, подумав: «На свете жить все-таки недурно».

И в ту же минуту увидел Дашу. Она медленно шла, в синем весеннем пальто, с краю тротуара и махала левой рукой со сверточком; на синей ее шапочке покачивались белые ромашки; лицо было задумчивое и грустное. Она шла с той стороны, откуда по лужам, по рельсам трамваев, в стекла, в спины прохожим, под ноги им, на спицы и медь экипажей светило из синей бездны огромное солнце, косматое, пылающее весенней яростью.

Даша точно вышла из этой синевы и света и прошла, пропала в толпе. Иван Ильич долго смотрел в ту сторону. Сердце медленно, точно кулак, било в грудь. Воздух был густой, пряный, кружащий голову.

Иван Ильич медленно дошел до угла и, заложив за спину руки, долго стоял перед столбом с афишами. «Новые и интересные приключения Джека потрошителя животов. 2400 метров», — прочел он раз шесть и сообразил, что ничего не понимает и счастлив так, как в жизни с ним еще не бывало.

А отойдя от столба, во второй раз увидел Дашу. Она возвращается, все так же — с ромашками и сверточком, по краю тротуара. Он подошел к ней, снял шляпу и сказал:

— Дарья Дмитриевна, я не помешаю, если поздороваюсь?

Она чуть-чуть вздрогнула. Затем подняла на него холодно-ватые глаза, в них от света блестели зеленые точки, улыбнулась ласково и подала руку в белой лайковой перчатке, крепко, дружески.

— Вот, как хорошо, что я вас встретила. Я даже думала сегодня о вас... Правда, правда, думала. — Даша кивнула головкой, и на шапочке закивали ромашки.

— У меня, Дарья Дмитриевна, было дело на Невском, и теперь весь день свободный... И день какой-то такой... — Иван Ильич сморщил губы, собирая все присутствие духа, чтобы они не расплылись в улыбку.

Даша спросила:

— Иван Ильич, вы могли бы меня проводить до дома?

— Конечно... да...

Они свернули в боковую улицу и шли теперь в тени.

— Иван Ильич, вам не будет странно, если я спрошу вас об одной вещи? Нет, конечно, с вами-то я и поговорю. Только вы отвечайте мне сразу. Говорите, не раздумывая, а прямо, — как спрошу, так и ответьте.

Лицо ее было озабочено, и брови сдвинуты.

— Раньше мне казалось так, — она провела рукой по воздуху, — есть воры, лгунишки, убийцы и уличные женщины. Но они существуют так же, как змеи, пауки и мыши, — я боюсь мышей, — а люди, все люди — немного смешные, со слабостями и чудачествами, но все — добрые и ясные... Вон, видите — идет барышня — ну, вот, какая она есть, такая и есть. Весь свет мне казался точно нарисованным чудесными красками. Вы понимаете меня?

— Но это прекрасно, Дарья Дмитриевна...

— Подождите. А теперь я точно проваливаюсь в эту картину, в темноту, в духоту... Я вижу, — человек может быть обаятельным, даже каким-то особенно трогательным, прямо на ощупь, и грешит, грешит ужасно при этом. Вы не подумайте, — не пирожки таскать из буфета, а грех настоящий: ложь, — Даша отвернулась, подбородок ее дрогнул, — человек этот прелюбодей. Женщина — замужняя. Значит, грешить можно? Я спрашиваю, Иван Ильич.

— Нет, нет, нельзя.

— Почему нельзя?

— Этого сейчас сказать не могу. Но чувствую, что нельзя.

— А вы думаете — я сама этого не чувствую? С двух часов брожу по городу в тоске. День такой ясный, свежий, а мне все

представляется, что в этих домах, за занавесками, попрятались черные, черные люди. И я должна быть с ними, вы понимаете?

— Нет, не понимаю, — быстро ответил он.

— Нет, должна. И пойду. Потому что вся жизнь там, за занавесками, а не здесь. Ах, какая тоска у меня! Значит, просто-напросто я — девчонка. А этот город не для девчонок построен, а для взрослых.

Даша остановилась у подъезда и носком высокого башмака стала передвигать взад и вперед по асфальту кем-то брошенную коробку от папирос, с картинкой — зеленая дама, изо рта дым. Иван Ильич, глядя на лакированный носок Дашиной ноги, чувствовал, как Даша словно тает, уходит туманом. Он бы хотел удержать ее, но какой силой? Есть такая сила, и он чувствовал, как она сжимает ему сердце, стискивает горло. Но для Даши все его чувство, как тень на стене, потому что и он сам не более, как добрый, славный Иван Ильич.

— Ну, прощайте, спасибо вам, Иван Ильич. Вы очень славный и добрый. Мне легче не стало от наших разговоров, но все же я вам очень, очень благодарна. Вы меня поняли, правда? Вот какие дела на свете. Надо быть взрослой, ничего не поделаешь. Заходите к нам в свободный часок, пожалуйста. — Она улыбнулась, встряхнула ему руку и вошла в подъезд, пропала там в темноте.

VI

Даша растворила дверь своей комнаты и остановилась в недоумении: пахло сырыми цветами, и сейчас же она увидела на туалетном столике корзину с высокой ручкой и синим бантом, подбежала и опустила в нее лицо. Это были пармские фиалки, помятые и влажные.

Даша была взволнована. С утра ей хотелось чего-то неопределимого, а сейчас она поняла, что хотелось именно фиалок. Но кто их прислал? Кто думал о ней сегодня так внимательно, что угадал даже то, чего она сама не понимала. Вот только бант — совсем уж здесь не к месту. Развязывая его, Даша подумала: «Хоть и беспокойная, но не плохая девушка. Какими бы вы там грешками ни занимались — она пойдет своей дорогой. Быть может, думаете, что слишком задирает нос? — Найдутся люди, которые поймут задранный нос и даже оценят».

В банте оказалась засунутой записка на толстой бумаге, два слова незнакомым, крупным почерком: «Любите любовь». С обратной стороны напечатано: «Цветоводство Ницца». Значит, там, в магазине, кто-то и написал: «Любите любовь». Даша с корзиной в руках вышла в коридор и крикнула:

— Могол, кто мне принес эти цветы?

Великий Могол посмотрела на корзину и чистоплотно вздохнула, точно ее эти вещи ни с какой стороны не касаются:

— Екатерине Дмитриевне мальчишка из магазина принес. А барыня вам велела поставить.

— От кого, он сказал?

— Ничего не говорил, только сказал, чтобы передали барыне.

Даша вернулась к себе и стала у окна, заложив руки за спину. Сквозь стекла был виден закат, — слева, из-за кирпичной стены соседнего дома он разливался по небу, зеленел и линял. Появилась звезда в этой зеленеющей пустоте, переливаясь, сверкала, как вымытая. Внизу, в узкой и затуманившейся теперь улице, сразу, во всю ее длину, вспыхнули электрические шары, еще не яркие и не светящие. Близко прокрякал автомобиль, и было видно, как покатил вдоль улицы в вечернюю мглу.

В комнате стало совсем темно, и нежно пахли фиалки. Их прислал тот, с кем у Кати был грех. Это ясно. Даша стояла и думала, что вот она, как муха, попала в паутину тончайшего и соблазнительного греха. Он в этом влажном запахе цветов, в двух словах: «Любите любовь», — жеманных и волнующих, и в кротком очаровании этого вечера.

И вдруг ее сердце сильно и часто забилося. Даша почувствовала, точно прикасается пальцами, видит, слышит, ощущает что-то запретное, скрытое, обжигающее сладостью. Она, внезапно, всем духом словно разрешила себе, дала волю. И нельзя было понять, как случилось, что в то же мгновение она была уже по эту сторону. Строгость, ледяная стеночка растаяла дымкой, такой же, как та, в конце улицы, куда беззвучно унесся автомобиль с двумя дамами в белых шляпах.

Только билось сердце, легко кружилась голова, и во всем теле веселым холодком сама собою пела какая-то музыка: «Я живу, люблю. Жизнь, весь свет — мой, мой, мой».

«Послушайте, моя милая, — вслух проговорила Даша, открывая глаза, — вы девственница, друг мой, у вас просто дурной характер».

Она пошла в дальний угол комнаты, села в большое мягкое кресло и, не спеша обдирая бумагу с шоколадной плитки, стала припоминать все, что произошло за эти две недели, после Катиного греха.

В доме ничего не изменилось. Катя даже стала особенно нежной с Николаем Ивановичем. Он ходил веселый и собирался строить дачу в Финляндии. Одна Даша переживала молча эту «трагедию» двух ослепших людей. Заговорить первая с сестрой она не решалась, а Катя, всегда такая внимательная к Дашиным настроениям, на этот раз точно ничего не замечала. Екатерина

Дмитриевна заказывала себе и Даше весенние костюмы к Пасхе, пропадала у портних и модисток, принимала участие в благотворительных базарах, устраивала, по просьбе Николая Ивановича, литературный спектакль с негласной целью сбора в пользу комитета левой фракции социал-демократической партии, так называемых большевиков, прозябавших в Париже, собирала гостей, кроме вторников, еще и по четвергам, — словом, у нее не было ни минуты свободной.

«А вы в это время трусили, ни на что не решались и размышляли над вещами, в которых, как овца, ничего не понимали, и не поймете, покуда сами не обожжете крылышки», — подумала Даша и тихо засмеялась. Из того темного озера, куда падали ледяные шарики и откуда нельзя было ожидать ничего хорошего, встал, как часто бывало за эти дни, едкий и злой образ Бессонова. Она разрешила себе, и он овладел ее мыслями. Даша притихла. В темной комнате тикали часики.

Затем далеко в доме хлопнула дверь, и было слышно, как голос сестры спросил:

— Давно вернулась?

Даша поднялась с кресла и вышла в прихожую. Екатерина Дмитриевна сейчас же сказала:

— Почему ты красная?

Николай Иванович, шибко потеряв руки, отпустил остроту из репертуара любовника-резонера. Даша, с ненавистью поглядев ему на мягкие большие губы, пошла за Катей в ее спальню. Там, присев у туалета, изящного и хрупкого, как все в комнате сестры, она стала слушать болтовню о знакомых, встреченных во время прогулки.

Рассказывая, Екатерина Дмитриевна наводила порядок в зеркальном шкафу, где лежали перчатки, куски кружев, вуальки, шелковые башмачки, — множество маленьких пустяков, пахнущих ее духами. Оказывается, что Роза Абрамовна одевается «ни у какой ни у мадам Дюклэ», а дома, и притом прескверно, что Ведренский опять проворонил процесс и сидит без денег, встретила его жену, плачется, — очень трудно стало жить. У Тимирязевых корь. Шейнберг опять сошелся со своей истеричкой, передают, что она даже стрелялась у него на квартире. Вот, — весна-то, весна! А день какой сегодня?! Все бродят, как пьяные мухи, по улицам. Да, еще новость, — встретили Акундина, уверяет, что в самом ближайшем времени у нас будет революция. Понимаешь, на заводах, в деревнях — повсюду брожение. Ах, поскорее бы! Николай Иванович до того обрадовался, что повел меня к Пивато, и мы выпили бутылку шампанского, ни с того ни с сего, за будущую революцию.

Даша, молча слушая сестру, открывала и закрывала крышечки на хрустальных флаконах.

— Катя, — сказала она внезапно, — понимаешь, я такая, какая есть, никому не нужна. — Екатерина Дмитриевна с шелковым чулком, натянутым на руку, обернулась и внимательно взглянула на сестру. — Главное, я не нужна самой себе, такая. Вроде того, если бы человек решил есть одну сырую морковь и считал бы, что это его ставит гораздо выше остальных людей.

— Не понимаю тебя, — сказала Екатерина Дмитриевна.

Даша поглядела на ее спину и вздохнула:

— Все не хороши, всех я осуждаю. Один глуп, другой противный, третий грязный. Одна я хороша. Я здесь чужая, мне очень тяжело от этого. Я и тебя осуждаю, Катя.

— За что? — не оборачиваясь, тихо спросила Екатерина Дмитриевна.

— Нет, ты пойми. Хожу с задраннным носом, — вот и все достоинства. Просто — это глупо, и мне надоело быть чужой среди вас всех. Одним словом, — понимаешь, мне очень нравится один человек.

Даша проговорила это, опустив голову; засунула палец в хрустальный флакончик и не могла его оттуда вытащить.

— Ну, что же, девочка, слава богу, если нравится. Будешь счастлива. Кому же и счастье, как не тебе. — Екатерина Дмитриевна легонько вздохнула.

— Видишь ли, Катя, это все не так просто. По-моему, я не люблю его.

— Если нравится — полюбишь.

— В том-то и дело, что он мне не нравится.

Тогда Екатерина Дмитриевна закрыла дверцу шкафа и остановилась около Даши.

— Ты же только что сказала, что нравится... Вот, действительно.

— Катюша, не придирайся. Помнишь англичанина в Сестрорецке, вот тот и нравился, была даже влюблена. Но тогда я была сама собой... Злилась, пряталась, по ночам ревела, и все сошло с меня, как водица. А этот... Я даже не знаю — он ли это... Нет, он, он, он... Смутил меня... И вся я другая теперь. Точно дыму какого-то нанюхалась... Войди он сейчас ко мне в комнату — не пошевелюсь...

— Господи. Даша, что ты говоришь?

— Катя, ведь это называется грех?.. Вот я так понимаю.

Екатерина Дмитриевна присела на стул к сестре, привлекла ее, взяла ее горячую руку, поцеловала в ладонь, но Даша медленно освободилась, вздохнула, подперла голову и долго глядела на синее окно, на звезды.

— Даша, как его зовут?

— Алексей Алексеевич Бессонов.

Тогда Катя пересела на стул, рядом, положила руку на горло и сидела, не двигаясь. Даша не видела ее лица, — оно все было в тени, — но чувствовала, что сказала ей что-то ужасное.

«Ну, и тем лучше», — отворачиваясь, подумала она. И от этого «тем лучше» стало легко и пусто:

— Почему, скажи пожалуйста, другие все могут, а я не могу? Два года слышу про шестьсот шестьдесят шесть соблазнов, а всего-то за всю жизнь один раз и целовалась с гимназистом на катке, в теплушке.

Она вздохнула громко и замолчала. Екатерина Дмитриевна сидела теперь согнувшись, опустив руки на колени.

— Бессонов очень дурной человек, — проговорила она, — он страшный человек, Дашенька. Ты слушаешь меня?

— Да.

— Он всю тебя сломает.

— Ну, что же теперь поделаешь!

— Я не хочу этого! Пусть лучше другие... Пусть лучше я погибну! Но не ты, не ты, милочка!

— Нет, вороненок не хорош, он черен телом и душой, — нарочно засмеявшись, сказала Даша, — чем же Бессонов плох, скажи?

— Не могу сказать... Не знаю... Но я содрогаюсь, когда думаю о нем.

— А ведь он тебе тоже, кажется, нравился немножко?

— Никогда... Ненавижу!.. Храни тебя Господь от него!

— Вот видишь, Катюша... Теперь уж я наверно попаду к нему в сети.

— О чем ты говоришь?.. Мы с ума сошли обе!

Но Даше именно этот разговор и нравился, точно шла на цыпочках по дощечке. Нравилось, что волнуется Катя. О Бессонове она почти уже и не думала, но нарочно принялась рассказывать про свои чувства к нему, описывала встречи, его лицо. Все это преувеличивала, и выходило так, будто она ночи напролет томится грешными мыслями и чуть ли не сейчас готова бежать к Бессонову. Под конец ей самой стало смешно, захотелось схватить Катю за плечи, расцеловать: «Вот уж кто дурочка, так это ты, Катюша». Но Екатерина Дмитриевна вдруг соскльзнула со стула на коврик, обхватила Дашу, легла лицом в ее колени и, вздрагивая всем телом, крикнула как-то страшно даже:

— Прости, прости меня!.. Даша, прости меня!

Даша перепугалась. Нагнулась к сестре и от страха и жалости сама заплакала, всхлипывая, стала спрашивать — о чем она говорит, за что ее простить? Но Екатерина Дмитриевна стиснула зубы и только ласкала сестру, целовала ей руки.

За обедом Николай Иванович, взглянув на обеих сестер, сказал:

— Так-с. А нельзя ли и мне быть посвященным в причину сих слез?

— Причина слез — мое гнусное настроение, — сейчас же ответила Даша, — успокойся, пожалуйста, я и без тебя понимаю, что вся, вместе с этой вилкой, не стою мизинчика твоей супруги.

В конце обеда, к кофе, пришли гости. Николай Иванович решил, что по случаю семейных настроений необходимо поехать в кабак. Куличек стал звонить в гаражи. Катю и Дашу послали переодеваться. Пришел Чирва и, узнав, что собираются в кабак, неожиданно рассердился:

— В конце концов от этих непрерывных кутежей страдает кто? Русская литература-с. — Но и его взяли в автомобиль вместе с другими.

В «Северной Пальмире» было полно народом и шумно; огромная, низкая зала под землю ярко залита белым светом шести хрустальных люстр. Люстры, табачный дым, поднимающийся к ним из партера, тесно поставленные столики, люди во фраках и голые плечи женщин, цветные парики, — зеленые, лиловые и седые, — пучки снежных эспри, драгоценные камни, дрожащие на шеях и в ушах снопиками оранжевых, синих, рубиновых лучей, скользящие в тесноте лакеи, испитой человек, с мокрой прядью волос на лбу, с поднятыми руками, и магическая его палочка, режущая воздух перед занавесом малинового бархата, блестящая медь труб — все это повторялось и множилось в зеркальных стенах, и казалось, будто здесь, в бесконечных перспективах, сидит все человечество, весь мир.

Даша, потягивая через соломинку шампанское, наблюдала за столиками. Вот перед запотевшим ведром и кожей от лангуста сидит бритый человек с напудренными щеками. Глаза его полузакрыты, рот презрительно сжат. Очевидно, сидит и думает о том, что, в конце концов, электричество потухнет, а все люди умрут, — стоит ли вообще радоваться чему-нибудь?

Вот заколыхался и пошел в обе стороны занавес. На эстраду выскочил маленький, как ребенок, японец, с трагическими морщинами, и замелькали вокруг него в воздухе пестрые шары, тарелки, факелы. Глядя на них, Даша подумала: «Почему Катя сказала — прости, прости?»

И вдруг точно обручем стиснуло голову, остановилось сердце. «Неужели?» Но она трянула головой, вздохнула глубоко, не давая даже подумать себе, что — «неужели», и поглядела на сестру.

Екатерина Дмитриевна сидела на другом конце стола такая утомленная, печальная и красивая, что у Даши глаза налились слезами. Она поднесла палец к губам и незаметно дунула на него.

Это был условный знак. Катя увидела, поняла и нежно, медленно улыбнулась.

Часов около двух начался спор — куда ехать? Екатерина Дмитриевна попросилась домой. Николай Иванович говорил, что, как все, так и он, а «все» решили ехать «дальше».

И тогда Даша сквозь поредевшую толпу увидела Бессонова. Он сидел, положив локоть далеко на стол и внимательно слушал Акундина, который с полуизжеванной папиросой во рту говорил ему что-то, резко чертя ногтем по скатерти. На этот летающий ноготь Бессонов и глядел. Его лицо было сосредоточено и бледно. Даше показалось, что сквозь шум она расслышала: «Конец, конец всему». Но сейчас же их обоих заслонил широкобрюхий татарин-лакей. Поднялись Катя и Николай Иванович, Дашу окликнули, и она так и осталась, уколотая любопытством, взволнованная и растерянная.

Когда вышли на улицу — неожиданно бодро и сладко пахнуло морозцем. В черно-лиловом небе пылали созвездия. Кто-то за Дашинной спиной проговорил со смешком: «Чертовски шикарная ночь!» К тротуару подкатил автомобиль, сзади, из бензиновой гари, вынырнул оборванный человек, сорвал картуз и, приплясывая, распахнул перед Дашей дверцу мотора. Даша, входя, взглянула, — человек был худой, с небритой щетиной, с перекосенным ртом, и весь тряся, прижимая локти.

— С благополучно проведенным вечером в храме роскоши и чувственных удовольствий! — бодро крикнул он хриплым голосом и, живо подхватив брошенный кем-то двугривенный, салютовал рваной фуражкой. Даша почувствовала, как по ней точно цапнули его черные свирепые глазки.

Домой вернулись поздно. Даша, лежа на спине в постели, даже не заснула, а забылась, будто все тело у нее отнялось, — такая была усталость.

Вдруг, со стоном сдергивая с груди одеяло, она села, раскрыла глаза. В окно на паркет светило солнце... «Боже мой, что за ужас был только что?!» Было так страшно, что она едва не заплакала; когда же собралась с духом — оказалось, что забыла все. Только в сердце осталась боль от какого-то отвратительно страшного сна.

После завтрака Даша пошла на курсы, записалась держать экзамен, купила книг и до обеда, действительно, вела суровую, трудовую жизнь — зубрила постылый курс римского права. Но вечером опять пришлось натягивать шелковые чулки (утром решено было носить только нитяные), пудрить руки и плечи, перчесываться. «Устроить бы на затылке шиш, вот и хорошо, а то все

кричат: делай модную прическу, а как ее сделаешь, когда волосы сами рассыпаются». Словом, была мука. На новом же синем шелковом платье оказалось спереди пятно от шампанского.

Даше вдруг стало до того жалко этого платья, до того жаль своей пропадающей жизни, что, держа в руке испорченную юбку, она села и расплакалась. В дверь сунулся было Николай Иванович, но, увидев, что Даша в одной рубашке и плачет, позвал жену. Прибежала Катя, схватила платье, воскликнула: «Ну, это сейчас отойдет!» — и кликнула Великого Могола, которая появилась с бензином и горячей водой.

Платье отчистили, Дашу одели. Николай Иванович чертыхался из прихожей: «Ведь премьера же, господа, нельзя опаздывать». И, конечно, в театр опоздали.

Даша, сидя в ложе рядом с Екатериной Дмитриевной, глядела, как рослый мужчина, с наклеенной бородой и неестественно расширенными глазами, стоя под плоским деревом, говорил девушке в ярко-розовом: «Софья Ивановна, я люблю вас, люблю вас», — и держал ее за руку. И, хотя пьеса была не жалобная, Даше все время хотелось плакать, жалеть девушку в ярко-розовом, и было досадно, что действие не так поворачивает. Девушка, как выяснилось, и любит и не любит, на объятие ответила русалочным хохотом и убежала к мерзавцу, белые брюки которого мелькали на втором плане, между стволов. Мужчина схватился за голову, сказал, что уничтожит какую-то рукопись — дело его жизни, и первое действие окончилось.

В ложе появились знакомые, и начался обычный, торопливо-приподнятый, разговор.

Маленький Шейнберг, с голым черепом и бритым, измятым лицом, словно все время выпрыгивающим из жесткого воротника, сказал о пьесе, что она захватывает:

— Опять проблема пола, но проблема, поставленная остро. Человечество должно, наконец, покончить с этим проклятым вопросом.

На это ответил угрюмый, большой Буров, следовательно по особому важным делам — либерал, у которого на Рождестве сбежала жена с содержателем скаковой конюшни:

— Как для кого — для меня вопрос решенный. Женщина лжет самым фактом своего существования, мужчина лжет при помощи искусства. Половой вопрос — просто мерзость, а искусство — один из видов уголовного преступления.

Николай Иванович захохотал, глядя на жену. Буров продолжал мрачно:

— Птице пришло время нести яйца, — самец одевается в пестрый хвост. Это ложь, потому что природный хвост у него серый, а не пестрый. На дереве распускается цветок — тоже ложь,

приманка, а суть в безобразных корнях под землей. А больше всего лжет человек. На нем цветов не растет, хвоста у него нет, приходится пускать в дело язык, — ложь сугубая и отвратительная, так называемая любовь и все, что вокруг нее накручено. Вещи загадочные для барышень в нежном возрасте, только, — он покосился на Дашу, — в наше время — полнейшего отупения — этой чепухой занимаются серьезные люди. Да-с, Российское государство страдает засорением желудка.

Он с катаральной гримасой нагнулся над коробкой конфет, покопал в ней пальцем, выбрал шоколадную с ромом, вздохнул, положил в рот и поднял к глазам большой бинокль, висевший у него на ремешке через шею.

Разговор перешел на застой в политике и реакцию. Куличек, шевеля бровями, взволнованным шепотом рассказал последний дворцовый скандал.

— Кошмар, кошмар! — быстро проговорил Шейнберг.

Николай Иванович ударил себя по коленке:

— Революция, господа, революция нужна нам немедленно! Иначе мы просто задохнемся. У меня есть сведения, — он понизил голос, — на заводах очень не спокойно.

Все десять пальцев Шейнберга взлетели от возбуждения на воздух:

— Но когда же, когда? Невозможно без конца ждать!

— Доживем, Яков Александрович, доживем, — проговорил Николай Иванович весело, — и вам портфельчик вручим министерства юстиции-с, ваше превосходительство.

Даше надоело слушать об этих проблемах, революциях и портфельчиках. Облокотясь о бархат ложи и другою рукою обняв Катю за талию, она глядела в партер, иногда с улыбкой кивая знакомым. Даша знала и видела, что они с сестрой нравятся, и эти уловленные в толпе взгляды — нежные мужские и злые женские — и обрывки фраз, и улыбки возбуждали ее, как пьянит весенний воздух. Слезливое настроение прошло. Щеку около уха щекотал завиток Катиных волос.

— Катюша, я тебя люблю, — шепотом проговорила Даша.

— И я.

— Ты рада, что я у тебя живу?

— Очень.

Даша раздумывала, что бы ей еще сказать Кате доброе. И вдруг внизу увидела Телегина. Он стоял в черном сюртуке, держа в руках шапку и афишу и давно уже, исподлобья, чтобы не заметили, глядел на ложу Смоковниковых. Его загорелое, твердое лицо заметно выделялось среди остальных лиц, либо слишком белых, либо испитых. Волосы его были гораздо светлее, чем Даша их представляла, — как рожь.

Встретясь глазами с Дашей, он сейчас же поклонился, затем отвернулся, но у него упала шапка. Нагибаясь, он толкнул сидевшую в креслах толстую даму, начал извиняться, покосился опять на ложу и, видя, что Даша смеется, покраснел, попятился, наступил на ногу редактору эстетического журнала «Хор муз» и, махнув рукой, пошел к выходу. Даша сказала сестре:

— Катя, это и есть Телегин.

— Вижу, очень милый.

— Поцеловала бы, до чего мил. И, если бы ты знала, до чего он умный человек, Катюша.

— Вот, Даша!..

— Что?

Но сестра промолчала. Даша поняла и тоже приумолкла. У нее опять защемило сердце, — у себя, в улиточьем доме было неблагополучно: на минуту забылась, а заглянула опять туда, — тревожно, темно, душно.

Когда зал погас и занавес поплыл в обе стороны, Даше показалось, что она точно выгнана из дому, — некуда от самой себя укрыться. Она вздохнула и внимательно стала слушать.

Человек с наклеенной бородой продолжал грозиться сжечь рукопись, девушка издевалась над ним, сидя у рояля. И было очевидно, что эту девицу поскорее нужно выдать замуж, чем тянуть еще канитель на три акта. Все это — душевный вывих, не что иное, как глупость.

Даша подняла глаза к плафону зала, — там, среди облаков, летела прекрасная, полуобнаженная женщина, с радостной и ясной улыбкой. «Боже, до чего похожа на меня», — подумала Даша. И сейчас же увидела себя со стороны: сидит существо в ложе, ест шоколад, врет, путает и ждет, чтобы само собою случилось что-то необыкновенное. Но ничего не случится. «И жизни мне нет, покуда не пойду к нему, не услышу его голоса, не почувствую его всего. А остальное — ложь. Просто — нужно быть честной».

С этого вечера Даша не раздумывала более — любит ли Бессонова, или тянется к нему от греховной какой-то размягченности, больного любопытства. Она знала теперь, что пойдет к нему, и боялась этого часа. Одно время она решила было уехать к отцу, в Самару, но подумала, что полторы тысячи верст не спасут от искушения, и махнула рукой.

Ее здоровая девственность негодовала, но что можно было поделать со «вторым человеком», когда ему помогало все на свете. И, наконец, было невыносимо оскорбительно так долго страдать и думать об этом Бессонове, который и знать-то ее не хочет, живет в свое удовольствие где-то около Каменноостровского проспекта, пишет стихи об актрисе с кружевными юбками. А Даша, вся до последней капельки, наполнена им, вся в нем.

Даша теперь брезговала собой. Нарочно гладко причесывала волосы, закручивая их шишом на затылке, носила старое — гимназическое — платье, привезенное еще из Самары, с тоской, упрямо, зубрила римское право, не выходила к гостям и отказывалась от развлечений. Быть честной оказалось нелегко. Даша просто трусила.

В начале апреля, в прохладный вечер, когда закат уже потух и зеленовато-линялое небо светилось фосфорическим светом, не бросая теней, Даша возвращалась с островов пешком.

Дома она сказала, что идет на курсы, а вместо этого проехала в трамвайчике до Елагина моста и бродила весь вечер по голым аллеям, переходила мостики, глядела на воду, на лиловые сучья, распластанные в оранжевом зареве заката, на лица прохожих, на плывущие за мшистыми стволами огоньки экипажей. Она не думала ни о чем и не торопилась.

Было спокойно на душе, и всю ее, словно до костей, пропитал весенний, солоноватый воздух взморья. Ноги устали, но не хотелось возвращаться домой, в комнату, где столько было передуманно душевных мыслей.

По широкому проспекту Каменноостровского крупной рысью катили коляски, пронеслись длинные автомобили, с шутками и смехом двигались кучки гуляющих. Даша свернула в боковую улочку.

Здесь было совсем тихо и пустынно. Зеленело небо над крышами. Из каждого почти дома, из-за опущенных занавесей, раздавалась музыка. Вот разучивают сонату, вот — знакомый, знакомый вальс, а вот в тусклом и красноватом от заката окне мезонина переливаются четыре хрустальных голоса фуги. Словно в тишине этого синеватого вечера пел самый воздух.

И у Даши, насквозь пронизанной звуками, тоже все пело и все тосковало. Казалось, тело стало легким и чистым, без пятнышка.

Даша свернула за угол, прочла на стене дома номер, усмехнулась и, подойдя к парадной двери, где над медной львиной головой была прибита визитная карточка «А. Бессонов», сильно позвонила.

VII

В железные ворота постучали. На каменной тумбе, в тени воротной арки, зашевелился тулуп, поднялась рука со звенящими ключами, шмыгнула по носу. Тулуп двинулся, взвизгнул замок, и тяжелые ворота приоткрылись.

На улицу вышли двое, пряча подбородки в поднятые воротники, — Бессонов и Акундин. Из черной овчины тулупа высунулось подслеповатое личико ночного сторожа, попросило у них

на чашек. Бессонов опустил ему в конец рукава двугривенный и повернул направо по пустынной улице. Акундин шел немного сзади, затем догнал его и взял под руку:

— Ну что, Алексей Алексеевич, как вам понравился наш про-рок Елисей?

Бессонов сразу остановился:

— Послушайте, но ведь это бред! За воротами, на втором дворе, на черной лестнице, в душевой комнате, среди книг, табаку, сидеть и думать... Вы вглядывались в его лицо?.. Без кровинки... Какой-то особенный, красный рот, точно он слова обсасывает губами. Но, подумайте, если осуществить все, о чем он говорил?

— Большая будет потеха на свете, Алексей Алексеевич.

— Нет, это бред!.. На старом диване, в табачном дыму зажигать мировой пожар!.. Что вы мне говорите, — вот льет дождик, так и будет лить до окончания века... Камня вы с места не сдвинете.

Они стояли под фонарем. Бессонов глядел на пропадающие во мгле мелкого дождя зеленоватые точки огней. Редкие прохожие, отражаясь в черном асфальте, спешили по домам, — руки в карманы, носы в воротники. Акундин, в большой серой шляпе, глядел снизу вверх на Бессонова и, усмехаясь, пощипывал бородку:

— В такие иерихонские трубы затрубим, Алексей Алексеевич, не то что стены — все сверху донизу рухнет. У нас ухватка уж больно хороша. Словечко есть. Важно было словечко найти, — Сезам, отворись. И в нашем словечке особенный фокус: к чему его ни приставишь, все в ту же минуту гниет и рассыпается. А вы говорите — камня не сдвинем. Например, во имя, скажем, процветания алаунского суглинка необходимо пойти бить немцев и городишки их жечь. Ура, ребята, за веру, царя и отечество! А вы попробуйте-ка приставить к этому наше словечко. Товарищи, русские, немцы и прочие, — голь, нищета, последние людишки, — довольно вашей кровушки попито, на горбе поезжено, давайте устраивать *мировую справедливость*. На меньшее вас не зовем. Отныне вы одни люди, остальные паразиты. В чем дело? Какие паразиты? Какая такая мировая справедливость? Алексей Алексеевич, понимаете — какой тут нужен жест, — вроде того, каким было с горы Иисусу Христу земное царство показано. Повторить необходимо. Объяснить на примере, что такое мировая справедливость в понимании Каширского уезда, села Брюхина, крестьянина Ликсея Иванова Седьмого, работающего с двенадцати лет на кирпичном заводе, за поденную плату пятьдесят пять копеек в сутки, на своих харчах. Пример: дом каменный видите? Видим. В доме сидит кирпичный фабрикант, цепочка поперек живота, видите? Видим. Шкаф у него полный денег, а под окнами городской ходит, смотрит строго, видите?

Видим. Ну, все это по мировой справедливости ваше, товарищи. Поняли? А вы, Алексей Алексеевич, говорите, что мы теоретики. Мы, как первые христиане. Они нищему поклонились, и мы униженному и оскорбленному, лахудре, что и на человека-то не похож, — низкий поклон от пяти материков. У них было словечко, и у нас словечко. У них крестовые походы, и у нас крестовые походы.

Акундин засмеялся, стараясь разглядеть лицо Бессонова, затененное шляпой. Затем, взглянув на часы, заторопился:

— Побрыкаетесь, а придете, придете к нам, Алексей Алексеевич. Такие, как вы, нам вот как нужны... Время близко, последние денечки доживаем... — Он хихикнул, подавив в себе возбуждение, крепко, отрывисто стиснул Бессонову руку и свернул за угол. И долго еще было слышно, как уверенно постукивали его каблуки по тротуару. Бессонов крикнул извозчика. Где-то в дождевой мгле зачмокали губами, затарахтел экипаж. У фонаря остановилась женщина и тоже стала глядеть на пропадающие огоньки. Потом проговорила, едва ворочая языком:

— Никогда не прощу.

Бессонов, вздрогнув, взглянул. Лицо ее все смеялось, морщинистое и пьяное. Подъехал извозчик — высокий мужик на маленькой лошадке, сказал тонким голосом: «Тпру». Садясь в сырую пролетку, Бессонов вспомнил, что предстоит еще одно свидание с женщиной. Очевидно, будет глупо и пошло, — тем лучше. Он сказал адрес, поднял воротник, и поплыли навстречу смутные очертания домов, расплывающиеся светлые из окон, облачка желтоватого тумана над каждым фонарем.

Остановившись у ресторана, извозчик сказал особым, только для господ, разбитным голосом:

— Вас четвертого сюда ныне привожу. Пицца здесь, что ли, хороша? Один все погонял, целковый, говорит, подарю, поезжай скорей, сукин сын. А лошадашка у меня совсем не способная.

Бессонов, не глядя сколько, сунул ему мелочь и взбежал по широкой лестнице ресторана. Швейцар сказал, снимая с него шубу:

— Алексей Алексеевич, вас ждут.

— Кто?

— Особа женского пола, нам не известная.

Бессонов, высоко подняв голову и глядя перед собой холодными глазами, прошел в дальний угол низкого и сейчас наполненного народом ресторанный зал, к своему обычному столу. Метрдотель, Лоскуткин, благородный старик, сообщив, наклонившись над скатертью, что сегодня — необыкновенное баранье седло. Бессонов сказал:

— Есть не хочу. Дадите белого вина. Моего.

Он сидел строго и прямо, положив руки на скатерть. В этот час, в этом месте, как обычно, нашло на него привычное состояние мрачного вдохновения. Все впечатления дня словно сцепились в стройную и осмысленную форму, и в нем, в глубине, волнуемой завыванием румынских скрипок, запахами женских духов, духотой людного зала, возникла тень этой, вошедшей извне, формы, и эта тень была — вдохновение. Он чувствовал, что будто слепым, каким-то внутренним осязанием постигает таинственный смысл вещей и слов, — смеющегося лица в слезах у фонаря, и музыки, упоенной похотью в эту черную ночь, и бредовой фантазии публициста-социолога, к которому его привел сегодня Акундин, и всех этих странных сравнений, примерчиков и подхикиваний, на углу, у фонаря.

Бессонов поднимал стакан и пил вино, не разжимая зубов. Сердце медленно билось. Было невыразимо приятно чувствовать всего себя, пронизанного звуками и голосами.

Напротив, у столика под зеркалом, ужинали Сапожков, Антошка Арнольдов, вертлявый человек с трагическими глазами и Елизавета Киевна. Она вчера написала Бессонову длинное письмо, назначив здесь свидание, и сейчас сидела красная и взволнованная. На ней было платье из полосатой материи, черной с желтым, и такой же бант в волосах. Когда вошел Бессонов, ей стало душно.

— Будьте осторожны, — прошептал ей Арнольдов и, усмехаясь, показал сразу все свои гнилые и золотые зубы, — он бросил актрису, сейчас без женщины и опасен, как тигр.

Елизавета Киевна засмеялась, тряхнула полосатым бантом и пошла между столиками к Бессонову. На нее оглядывались, усмехаясь, давали дорогу.

За последнее время жизнь Елизаветы Киевны складывалась совсем уныло, — день за днем, без дела, без надежды на лучшее, — словом — тоска. Телегин явно невзлюбил ее, обращался вежливо, но разговоров и встреч наедине избегал. Она же с отчаянием чувствовала, что он-то именно ей и нужен. Когда в прихожей раздавался его голос, Елизавета Киевна поднимала голову от книги и глядела на дверь. Он шел по коридору, как всегда, на цыпочках. Она ждала, сердце останавливалось, дверь расплывалась в глазах, но он опять проходил мимо. Хоть бы постучал, попросил спичек. В конце концов, все это было безумно оскорбительно.

На днях, назло Жирову, с кошачьей осторожностью ругавшему все на свете, она купила книгу Бессонова, разрежала ее щипцами для волос, прочла несколько раз подряд, залила кофеем, смяла в постели и, наконец, за обедом объявила, что он гений...

Телегинские жильцы возмутились. Сапожков назвал Бессонова грибком на разлагающемся теле буржуазии. У Жирова вздулась на лбу жила. Художник Валет швырнул вилку. Один Телегин остался безучастным. Тогда у нее произошел так называемый «момент самопровокации», она захохотала, ушла к себе, написала Бессонову восторженное, нелепое письмо, с требованием свидания, вернулась в столовую и молча бросила письмо на стол. Жильцы прочли его вслух и долго совещались. Телегин сказал:

— Очень смело написано.

Тогда Елизавета Киевна отдала письмо кухарке, чтобы немедленно бросить в ящик, и почувствовала, что летит в пропасть.

Сейчас, подойдя к Бессонову, Елизавета Киевна проговорила бойко:

— Я вам писала. Вы пришли. Спасибо.

И сейчас же села напротив него, боком к столу, — нога на ногу, локоть на скатерть, — подперла подбородок и стала глядеть на Алексея Алексеевича нарисованными глазами. Он молчал. Лоскутки подал второй стакан и сам налил вина Елизавете Киевне. Она сказала:

— Вы спросите, конечно, зачем я вас хотела видеть?

— Нет, этого я спрашивать не стану. Пейте вино.

— Вы правы, мне нечего рассказывать. Вы живете, Бессонов, а я нет. Мне просто скучно.

— Чем вы занимаетесь?

— Мне предлагали войти в партию для совершения террористических актов, но я ненавижу дисциплину. Стать кокеткой — не хочу, — брезглива. Что можно сейчас делать, когда все гнилое, все гниет. Ничего я не делаю. Вам странно? Противно? Так вот, я спрашиваю — куда мне деться?

— Я думаю, что таким людям, как вы, нужно подождать немного, — ответил Бессонов, поднимая стакан на свет, — скоро, скоро будет время, когда тысячи таких же окаменевших химер оживут и слетятся делить добычу. У вас глаза химеры. — И он медленно вытянул вино сквозь зубы.

Елизавета Киевна не совсем поняла, о чем он говорит, но от удовольствия покраснела. Бессонов же почувствовал в ней хорошего слушателя, к тому же сам собою подвернулся «стиль», и он разрешил себе наслаждение поколдовать — напустить на эту замеревшую от внимания женщину черного дыма фантазии. Он заговорил о том, что на Россию опускается ночь для совершения страшного возмездия. Он чувствует это по тайным и зловещим знакам. На заборах и стенах домов, в виде торговых реклам, появились изображения дьявола. Вчера, например, был расклеен от фирмы «Космос» огромный плакат: по бесконечной лестнице, вниз, на автомобильной шине летит хохочущий дьявол, огнен-

но-красный, как кровь. В Денежном переулке на заборе он видел афишу — из облака рука указывает пальцем вниз на странную надпись: «В самом ближайшем времени».

— Вы понимаете, что это обозначает?.. Скоро будет большой простор для вас, Елизавета Киевна.

Разговаривая, он подливал вино в стаканы. Елизавета Киевна глядела в ледяные его глаза, на женственный рот, на поднятые тонкие брови и на то, как слегка дрожали его пальцы, державшие стакан, и как он пил, — жаждая, медленно. Голова ее упоительно кружилась. Издали Сапожков начал делать ей знаки. Внезапно Бессонов оборвал, обернулся и спросил, нахмурясь:

— Кто эти люди?

— Это — мои друзья.

— Мне не нравятся их знаки.

Тогда Елизавета Киевна проговорила, не думая:

— Пойдемте в другое место, хотите?

Бессонов взглянул на нее пристально. Глаза ее слегка косили, рот слабо усмехался, на висках выступили маленькие капельки пота. И вдруг он почувствовал жадность к этой здоровой, близорукой девушке, взял ее большую и горячую руку, лежащую на столе, и сказал:

— Или уходите сейчас же... Или молчите... Едем. Так нужно...

Елизавета Киевна только вздохнула коротко, щеки ее побледнели. Она не чувствовала, как поднялась, как взяла Бессонова под руку, как в швейцарской надели на нее пальто. И когда они сядились на извозчика, даже ветер не охладил ее пылающей кожи. Пролетка тарактела по камням. Бессонов, опираясь о трость обеими руками и положив на них подбородок, говорил:

— Вы сказали, что я живу. Я жил. Мне 38 лет, но жизнь окончена. Меня не обманывает больше любовь. Что может быть грустнее, когда увидишь вдруг, что рыцарский конь — деревянная лошадка. И вот еще много, много времени нужно тащиться по этой жизни, как труп...

Он обернулся, верхняя губа его приподнялась с усмешкой.

— Видно, и мне, вместе с вами, нужно подождать, когда затрубят иерихонские трубы. Хорошо, если бы на этом кладбище вдруг раздалось тра-та-та! И — зарево по всему небу..

Они подъехали к загородной гостинице. Заспанный половой повел их по длинному коридору в единственный, оставшийся незанятым, номер. Это была низкая комната, с красными обоями, в трещинах и пятнах. У стены, под выцветшим балдахином, стояла большая кровать, в ногах ее — жестяной рукомойник. Пахло непрветренной сыростью и табачным перегаром. Пыльная лампочка тускло горела под потолком. Елизавета Киевна, стоя в дверях, спросила чуть слышно:

— Зачем вы привезли меня сюда?

— Нет, нет, здесь нам будет хорошо, — поспешно ответил Бессонов.

Он снял с нее пальто и шляпу и положил на сломанное креслице. Половой принес бутылку шампанского, мелких яблочек и кисть винограда с пробковыми опилками, заглянул в рукомойник и скрылся все так же хмуро.

Елизавета Киевна отогнула штору на окне, — там, среди мокрого пустыря, горел газовый фонарь и ехали огромные бочки, с согнувшимися под рогожами людьми на козлах. Она усмехнулась, подошла к зеркалу и стала поправлять себе волосы какими-то новыми, незнакомыми самой себе движениями. «Завтра опомнюсь, — сойду с ума», — подумала она спокойно и расправила полосатый бант. Бессонов спросил:

— Вина хотите?

— Да, хочу.

Она села на диван, он опустился у ее ног на коврик и проговорил, словно в раздумье:

— У вас странные глаза: дикие и кроткие. Русские глаза. Вы любите меня?

Тогда она опять растерялась, но сейчас же подумала: «Нет. Это и есть безумие». Взяла из его рук стакан, полный вина, и выпила; и сейчас же голова медленно закружилась, словно опрокидываясь.

— Я вас боюсь и, должно быть, возненавижу, — сказала Елизавета Киевна, с усмешкой прислушиваясь, как словно издалека звучат ее и не ее слова, — не смейте так смотреть на меня, слышите?

— Вы странная девушка.

— Бессонов, слушайте, вы очень опасный человек. Я ведь из раскольничьей семьи, я в дьявола верю... Ах, боже мой, не смотрите же так на меня. Я знаю, зачем я вам понадобилась... Я вас боюсь, честное слово...

Она громко засмеялась, все тело ее задрожало от смеха, и в руках расплескалось вино из стакана. Бессонов опустил ей в колени лицо.

— Любите меня... Умоляю, любите меня, — проговорил он отчаянным голосом, словно в ней было сейчас все его спасение. — Мне тяжело... Мне страшно... Мне страшно одному.. Любите, любите меня...

Елизавета Киевна положила руку ему на голову, закрыла глаза.

Он говорил, что каждую ночь находит на него ужас смерти. Он должен чувствовать около себя близко, рядом, живого человека, который бы жалел его, согревал, отдавал бы ему себя. Это наказание, муки... «Да, да, знаю. Но я весь околел. Сердце

остановилось. Согрейте меня. Мне так мало нужно. Сжальтесь, я погибаю. Не оставляйте меня одного. Милая, милая девушка...»

Елизавета Киевна молчала, испуганная и взволнованная. Бессонов целовал ее ладони все более долгими поцелуями. Стал целовать большие и сильные ее ноги. Она крепче зажмурилась, показалось, что остановилось сердце, — так было стыдно.

И вдруг ее всю словно обвеял огонек, побежал по телу тревогой и радостью. Бессонов стал казаться милым, как ребенок, несчастный и невинный. Она приподняла его голову и крепко, жадно поцеловала в губы. После этого, уже без стыда, поспешно разделалась и легла в постель.

Когда Бессонов заснул, положив голову на ее голое плечо, Елизавета Киевна еще долго вглядывалась близорукими глазами в его желтовато-бледное лицо, все в усталых морщинках, — на висках, под веками, у сжатого рта: чужое, не любимое, но теперь навек родное лицо.

Глядеть на спящего было так тяжело, что Елизавета Киевна заплакала.

Ей казалось, что Бессонов проснется, увидит ее в постели, толстую, некрасивую, с распухшими глазами, и постарается поскорее отвязаться; что никогда никто не сможет ее полюбить и все будут уверены, будто она развратная, глупая и пошлая женщина, и она нарочно станет делать все, чтобы так думали; что она любит одного человека, а сошлась с другим, и так всегда ее жизнь будет полна мути, мусора, отчаянных оскорблений. Елизавета Киевна осторожно всхлипывала и вытирала глаза углом простыни. И так, незаметно, в слезах, забылась сном.

Бессонов глубоко втянул носом воздух, повернулся на спину и открыл глаза. Ни с чем не сравнимой кабацкой тоской гудело все тело. Было противно подумать, что нужно начинать заново день. Он долго рассматривал металлический шарик кровати, затем решил и поглядел налево. Рядом, тоже на спине, лежала женщина, лицо ее было прикрыто голым локтем.

«Кто такая?» Он напряг мутную память, но ничего не вспомнил, осторожно вытащил из-под подушки портсигар и закурил. «Вот так черт! Забыл, забыл. Фу, как неудобно!»

— Вы, кажется, проснулись, — проговорил он вкрадчивым голосом, — доброе утро. — Она промолчала, не отнимая локтя. — Вчера мы были чужими, а сегодня связаны таинственными узами этой ночи. — Он поморщился; все это выходило пошлово. И, главное, неизвестно, что она сейчас начнет делать — каяться, плакать, или охватит ее прилив родственных чувств? Он осторожно коснулся ее локтя. Она отодвинулась. Кажется, ее звали Валентина. Он сказал грустно:

— Валентина, вы сердитесь на меня?

Тогда она села в подушках и, придерживая на груди падающую рубашку, стала глядеть на него выпуклыми, близорукими глазами. Веки ее припухли, полный рот кривился в усмешку. Он сейчас же все вспомнил и почувствовал братскую нежность.

— Меня зовут не Валентина, а Елизавета Киевна, — сказала она. — Я вас ненавижу. Слезьте с постели.

Бессонов сейчас же вылез из-под одеяла и за пологом кровати, около вонючего рукомыльника, оделся кое-как, затем поднял штору и загасил электричество.

— Есть минуты, которых не забывают, — пробормотал он. Елизавета Киевна продолжала следить за ним темными глазами. Когда он присел было с папироской на диван, она проговорила медленно:

— Приеду домой — отравлюсь.

— Я не понимаю вашего настроения, Елизавета Киевна.

— Ну и не понимайте. Убирайтесь из комнаты, я хочу одеваться.

Бессонов вышел в коридор, где пахло угаром и сильно сквозило. Ждать пришлось долго. Он сидел на подоконнике и курил; потом пошел в самый конец коридора, где из маленькой кухоньки слышались негромкие голоса пологового и двух горничных, — они пили чай, и пологовой говорил:

— Заладила про свою деревню. Тоже Рассея! Много ты понимаешь. Походи ночью по номерам — вот тебе и Рассея. Все сволочи! Сволочи и охальники.

— Выразайтесь поаккуратнее, Кузьма Иваныч.

— Если я при этих номерах восемнадцать лет состою — значит, могу выражаться.

Бессонов вернулся обратно. Дверь в его номер была отворена, комната пуста. На полу валялась его шляпа.

«Ну что же, тем лучше», — подумал он и, зевнув, потянулся, расправляя кости.

Так начался новый день. Он отличался от вчерашнего тем, что часам к десяти утра сильный ветер разорвал дождевые облака, погнал их на север и там свалил в огромные, побелевшие груды. Мокрый город был залит свежими потоками солнечного света. В нем корчились, жарились, валились без чувств студенистые чудовища, неуловимые глазу, — насморки, кашли, дурные хвори, меланхолические палочки чахотки и даже полумистические микробы черной неврастении забивались за занавеси, в полумрак комнат и сырых подвалов. По улицам продувал теплый ветерок. В домах протирали стекла, открывали окна. Дворники в пестрых рубахах чистили и поливали мостовые. На Невском порочные

девочки, с зелеными личиками, предлагали прохожим букетики подснежников, пахнувших дешевым одеколоном. В магазинах спешно убрали все зимнее, и, как первые цветы, появлялись за витринами весенние шляпки, легкие материи, книги игривого содержания, веселенькие галстучки.

Трехчасовые газеты вышли все с заголовками: «Да здравствует Русская Весна». И несколько опубликованных стихов были весьма двусмысленны. Словом, цензуре натянули нос.

И, наконец, по городу, под свист и улюлюканье толпы мальчишек, прошли футуристы от группы «Центральной станции». Их было трое: Жиров, художник Валет и никому тогда еще не известный Аркадий Семисветов, огромного роста парень, с лошадиным лицом и жилистыми руками.

Футуристы были одеты в короткие, без поясов, кофты из оранжевого бархата с черными зигзагами и в цилиндры. У каждого был монокль, и на щеке нарисованы — рыба, стрела и буква «Р». Часам к пяти пристав Литейной части задержал их и на извозчике повез в участок для выяснения личности.

Весь город был на улицах. По Морской, по набережным и Каменноостровскому двигались сверкающие экипажи и потоки людей. Многим, очень многим казалось, что сегодня должно случиться что-то радостное и необыкновенное: — либо в Зимнем дворце подпишут какой-нибудь манифест, либо взорвут Совет министров бомбой, либо, вообще, где-нибудь «начнется».

Но опустились синие сумерки на город, зажглись огни вдоль каналов и улиц, отразились зыбкими иглами в черной воде, и с мостов Невы был виден за трубами судостроительных заводов огромный закат, дымный и облачный. И ничего не случилось. Блеснула в последний раз игла на Петропавловской крепости, и день кончился.

Бессонов много и хорошо работал в этот день. Освеженный после завтрака сном, он долго читал Гете, и, как всегда, чтение возбудило его и взволновало.

Он ходил по комнате, вдоль книжных шкафов, курил и думал вслух; время от времени подсаживался к письменному столу и записывал слова и строки; чтобы сильнее возбудить себя, приказал подать черного кофе, и старушка нянька, жившая всегда при его небольшой, холостой квартире, принесла на подносе фарфоровый, дымящийся моккой кофейник.

Бессонов писал о том, что опускается ночь на Россию, раздвигается занавес трагедии, и народ-богоносец чудесно, как в «Страшной мести» казак, превращается в богоборца, надевает страшную личину. Готовится всенародное совершение черной обедни. Бездна раскрыта. Спасения нет. Примем грех.

Закрывая глаза, он представлял пустынные поля, кресты на курганах, разметанные ветром кровли и вдалеке, за холмами, зарева пожарищ. Обхватив обеими руками голову, он думал, что любит именно такую эту страну, которую знал только по книгам и картинам. Лоб его покрывался глубокими морщинами, сердце было полно ужаса предчувствий. Потом, держа в пальцах дымящуюся папиросу, он исписывал крупным почерком хрустящие четвертушки тонкой бумаги.

В сумерки, не зажигая огня, Бессонов прилег на диван, весь еще взволнованный, с горячей головой и влажными руками. На этом кончался его рабочий день.

Понемногу сердце билось ровнее и спокойнее. Теперь надо было подумать, как провести этот вечер и ночь. Брр! Никто не звонил по телефону и не приходил в гости. Придется одному справляться с бесом уныния. Наверху, где жила английская семья, играли на рояле, и от этой музыки поднимались смутные и невозможные желания.

Вдруг в тишине дома раздался звонок с парадного. Нянька прощлепала туфлями. Сильный женский голос проговорил:

— Я хочу его видеть.

Затем легкие, стремительные шаги замерли у двери. Бессонов, не шевелясь, усмехнулся! Без стука распахнулась дверь, и в комнату вошла, освещенная сзади, из прихожей, стройная, высокая девушка, в большой шляпе, с дыбом стоящими ромашками.

Ничего не различая со света, она остановилась посреди комнаты; когда же Бессонов молча поднялся с дивана, — попятилась было, но упрямо тряхнула головой и проговорила тем же высоким, заносчивым голосом:

— Я пришла к вам по очень важному делу.

Бессонов подошел к столу и повернул выключатель. Между книг и рукописей засветился синий абажур, наполнивший всю комнату спокойным полусветом.

— Чем могу быть полезен? — спросил Алексей Алексеевич; показал вошедшей на стул, сам спокойно опустился в рабочее кресло и положил слабые руки на подлокотники. Лицо его было прозрачно-бледное с синевой под веками. Он не спеша поднял глаза на гостью и вздрогнул, пальцы его затрепетали.

— Дарья Дмитриевна! — проговорил он тихо. — Я вас не узнал в первую минуту.

Даша села на стул решительно, так же, как и вошла, сложила на коленях руки в лайковых перчатках и сердито насупилась.

— Дарья Дмитриевна, я счастлив, что вы посетили меня. Это большой, большой подарок.

Не слушая его, Даша сказала:

— Вы, пожалуйста, не подумайте, что я ваша поклонница. Некоторые ваши стихи мне нравятся, другие не нравятся, — не понимаю их, просто не люблю. Я пришла вовсе не затем, чтобы разговаривать о стихах... Я пришла потому, что вы меня измучили...

Она низко нагнула голову, и Бессонов увидел, что у нее покраснела шея и руки, между перчатками и рукавами черного платья. Он молчал, не шевелился.

— Вам до меня, конечно, нет никакого дела. И я бы тоже очень хотела, чтобы мне было все равно. Но, вот видите, приходится испытывать очень неприятные минуты...

Она быстро подняла голову и строгими, ясными глазами взглянула ему в глаза. Бессонов медленно опустил ресницы.

— Я не могу себя побороть, понимаете? Вы вошли в меня, как болезнь. Я постоянно ловлю себя на том, что думаю о вас. Это, наконец, выше моих сил. Лучше было прийти и прямо сказать, чем эта духота. Сегодня — решилась. Вот, видите, я вам объяснилась в любви...

Губы ее дрогнули. Она поспешно отвернулась и стала смотреть на стену, где, освещенная снизу, усмехалась стиснутым ртом и закрытыми веками любимая в то время всеми поэтами маска Петра Первого. Наверху, в семействе английского пастора, четыре голоса фуги пели: «Умрем». «Нет, мы улетим». «В хрустальное небо». «В вечную, вечную, вечную радость».

— Если вы станете уверять, что испытываете тоже ко мне какие-то чувства — я уйду сию минуту, — торопливо и горячо проговорила Даша. — Вы меня даже не можете уважать — это ясно. Так не поступают женщины. Но я ничего не хочу и не прошу от вас. Мне нужно было только сказать, что я вас любила мучительно и очень сильно... Я разрушилась вся от этого чувства... У меня даже гордости нет...

И она подумала: «Теперь встать, гордо кивнуть головой и выйти». Но продолжала сидеть, глядя на усмехающуюся маску. Ею овладела такая слабость, что — не поднять руки, и она чувствовала теперь все свое тело, его тяжесть и теплоту. «Отвечай же, отвечай», — думала она, как сквозь сон. Бессонов прикрыл ладонью лицо и стал говорить тихо, как беседуют в церкви, — немного придушенно:

— Всем моим духом я могу только благодарить вас за это чувство. Таких минут, такого благоухания, каким вы меня овеяли, не забывают никогда...

— Не требуется, чтобы вы их помнили, — сказала Даша сквозь зубы.

Бессонов помолчал, поднялся и, отойдя, прислонился спиной к книжному шкафу.

— Дарья Дмитриевна, я вам могу только поклониться низко. Я не достоин был слушать вас. Я никогда, быть может, так не проклинал себя, как в эту минуту. Растратил, размотал, изжил всего себя. Чем я вам отвечу? Приглашением за город, в гостиницу? Дарья Дмитриевна, я честен с вами. Мне нечем любить. Несколько лет назад я бы поверил, что могу еще испить вечной молодости. Я бы вас не отпустил от себя. Я бы прильнул к этой чаше...

Даша чувствовала, как он впускает в нее иголки. В его словах была затягивающая мука...

— Теперь я только расплескаю драгоценное вино. Вы должны понять, чего мне это стоит. Протянуть руку и взять...

— Нет, нет, — быстро прошептала Даша.

— Нет, да... И вы это чувствуете. Нет слаще греха, чем расточение. Расплескать. За этим вы и пришли ко мне. Иначе во веки веков хранили бы за белыми занавесочками Богом данную вам чашу с медом. Вы принесли ее мне...

Он медленно зажмурился. Даша, не дыша, с ужасом глядела в его лицо.

— Дарья Дмитриевна, позвольте мне быть откровенным. Вы так похожи на вашу сестру, что в первую минуту...

— Что? — крикнула Даша. — Что вы сказали?

Она сорвалась с кресла и остановилась перед ним. Бессонов не понял и не так истолковал ее волнение. Он чувствовал, что теряет голову. Его ноздри вдыхали благоухание духов и тот, почти неуловимый, но оглушающий и различный для каждого запах женской кожи.

— Это сумасшествие... Я знаю... Я не могу... — прошептал он, осязая отыскивая ее руку. Но Даша рванулась и побежала. На пороге оглянулась дикими глазами и скрылась. Сильно хлопнула парадная дверь. Бессонов медленно подошел к столу и застучал ногтями по хрустальной коробочке, беря папиросу. Потом сжал ладонью глаза и со всей ужасающей силой воображения почувствовал, что Белый Орден, готовящийся к решительной борьбе, послал к нему эту пылкую, нежную и соблазнительную девушку, чтобы привлечь его, обратить и спасти. Но он уже безнадежно в руках черных, и теперь спасения нет. Медленно, как яд, текущий в крови, разжигали его неуголенная жадность и сожаление.

VIII

— Даша, это ты? Можно. Войди.

Екатерина Дмитриевна стояла перед зеркальным шкафом, затягивая корсет. Даше она улыбнулась рассеянно и продолжала деловито повертываться, переступая на ковре тугими туфель-

ками. На ней было легкое белье, в ленточках и кружевцах, красивые руки и плечи — напудрены, волосы причесаны пышной короной. Около, на низеньком столике стояла чашка с горячей водой; повсюду — ножницы для ногтей, пилочки, карандаши, пуховки. Сегодня был пустой вечер, и Екатерина Дмитриевна «чистила перышки», как это называлось дома.

— Понимаешь, — говорила она, пристегивая чулок, — теперь перестают носить корсеты с прямой планшеткой. Посмотри, — этот — новый, от мадам Дюклэ. Живот гораздо свободнее, и даже чуть-чуть обозначен. Тебе нравится?

— Нет, не нравится, — ответила Даша. Она остановилась у стены и заложила за спину руки. Екатерина Дмитриевна удивленно подняла брови:

— Правда, не нравится? Какая досада. А в нем так удобно.

— Что удобно, Катя?

— Может быть, тебе кружева не нравятся? Можно положить другие. Как, все-таки, странно, — почему не нравится?

И она опять повернулась и правым и левым боком у зеркала. Даша сказала:

— Ты, пожалуйста, не у меня спрашивай, как нравятся твои корсеты.

— Ну, Николай Иванович совсем в этом деле ничего не понимает.

— Николай Иванович тоже тут ни при чем.

— Даша, ты что?

Екатерина Дмитриевна даже приоткрыла рот от изумления. Только теперь она заметила, что Даша едва сдерживается, говорит сквозь зубы и на щеках у нее горячие пятна.

— Мне кажется, Катя, тебе бы надо бросить вертеться у зеркала.

— Но должна же я привести себя в порядок.

— Для кого?

— Что ты в самом деле?.. Для самой себя.

— Врешь!

Долго после этого обе сестры молчали. Екатерина Дмитриевна сняла со спинки кресла верблюжий халатик на синем шелку, надела его и медленно завязала пояс. Даша внимательно следила за ее движениями, затем проговорила:

— Ступай к Николаю Ивановичу и расскажи ему все честно.

Екатерина Дмитриевна продолжала стоять, перебирая пояс. Было видно, как у нее по горлу несколько раз прокатился клубочек, точно она проглотила что-то.

— Даша, ты что-нибудь узнала? — спросила она тихо.

— Я сейчас была у Бессонова. — Екатерина Дмитриевна взглянула невидящими глазами и вдруг страшно побелела, под-

няла плечи. — Можешь не беспокоиться, — со мной там ничего не случилось. Он вовремя сообщил мне...

Даша переступила с ноги на ногу:

— Я давно догадывалась, что ты именно с ним... Только слишком все это было омерзительно, чтобы верить... Ты трусила и лгала, и, кажется, совсем успокоилась... Так вот, я в этой мерзости жить больше не желаю... Потрудись пойти к мужу, и все расскажи, и уж распутывайся сама, как знаешь...

Даша не могла больше говорить, — сестра стояла перед ней, низко наклонив голову. Даша ждала всего, но только не этой повинно и покорно склоненной головы.

— Сейчас пойти? — спросила Катя.

— Да. Сию минуту... Я требую... Ты сама должна понять...

Екатерина Дмитриевна коротко вздохнула и пошла к двери. Там, замедлив, она сказала еще:

— Я не могу, Даша. — Но Даша молчала. — Хорошо, я скажу.

Николай Иванович сидел в гостиной и, поскребывая в бороде костяным ножом, читал статью Акундина в только что полученной книжке журнала «Русские записки».

Статья была посвящена годовщине смерти Бакунина. Николай Иванович наслаждался. Когда вошла жена, он воскликнул:

— Катюша, сядь. Послушай, что он пишет, — вот это место... «Даже не в образе мыслей и не в преданности до конца своему делу обаяние этого человека, — то есть Бакунина, — а в том пафосе претворенных в реальную жизнь идей, которым было проникнуто каждое его движение, — и бессонные беседы с Прудонном, и мужество, с каким он бросался в самое пламя борьбы, и даже тот романтический жест, когда, мимоездом, он наводит пушки австрийских повстанцев, еще не зная хорошо, с кем и за что они дерутся. Пафос Бакунина есть прообраз той могучей силы, с какою выступают на борьбу новые классы. Материализация идей — вот задача наступающего века. Не извлечение их из-под груди фактов, подчиненных слепой инерции жизни, не уход их в идеальный мир, а процесс обратный: завоевание физического мира миром идей. Реальность — груды горячего, идеи — искры. Эти два мира, разъединенные и враждебные, должны слиться в пламени мирового переворота...» Нет, подумай, Катюша... Ведь это черным по белому — да здравствует революция! Молодец, Акундин! Действительно живем: — ни больших идей, ни больших чувств. Правительством руководит только одно — безумный страх за будущее. Интеллигенция, — обжирается и опивается: — пора открыть форточки. Ведь мы только болтаем, болтаем, Катюша, и по уши в болоте. Народ — заживо разлагается. Вся Россия погрязла в сифилисе и водке. Россия сгнила, дунь на

нее — рассыпется в прах. Так жить нельзя... Нам нужно какое-то самопожертвование, очищение в огне...

Николай Иванович говорил возбужденным и бархатным голосом, глаза его стали круглыми, нож полосовал воздух. Екатерина Дмитриевна стояла около, держась за спинку кресла. Когда он выговорился и опять принялся разрезать журнал, она подошла и положила ему руку на волосы:

— Коленка, тебе будет очень больно то, что я скажу. Я хотела скрыть, но вышло так, что нужно сказать...

Николай Иванович освободил голову от ее руки и внимательно взгляделся:

— Да, я слушаю, Катя.

— Помнишь, мы как-то с тобой повздорили, и я тебе сказала со зла, чтобы ты не очень был спокоен на мой счет... А потом отрицала это...

— Да, помню. — Он отложил книгу и совсем повернулся в кресле. Глаза его, встретясь с простым и спокойным взглядом Кати, забегали от испуга.

— Так вот... Я тебе тогда солгала... Я тебе была неверна...

Он жалобно сморщился, стараясь улыбнуться. У него пересохло во рту. Когда молчать уже дольше было нельзя, он проговорил глухим голосом:

— Ты хорошо сделала, что сказала... Спасибо, Катя...

Тогда она взяла его руку, прикоснулась к ней губами и прижала к груди. Но рука выскользнула, и она ее не удерживала. Потом Екатерина Дмитриевна тихо опустилась на ковер и положила голову на кожаный выступ кресла:

— Больше тебе не нужно ничего говорить?

— Нет. Уйди, Катя.

Она поднялась и вышла. В дверях столовой на нее неожиданно налетела Даша, схватила, стиснула и зашептала, целуя в волосы, в шею, в уши:

— Прости, прости!.. Ты дивная, ты изумительная!.. Я все слышала... Простишь ты меня, простишь ты меня. Катя?.. Катя!..

Екатерина Дмитриевна осторожно высвободилась, подошла к столу, поправила морщину на скатерти и сказала:

— Я исполнила твое приказание, Даша.

— Катя, простишь ты меня когда-нибудь?

— Ты была права, Даша. Так лучше, как вышло.

— Ничего я не была права! Я от злости... Я от злости... А теперь вижу, что тебя никто не смеет осуждать. Пускай мы все страдаем, пускай нам будет больно, но ты — права, я это чувствую, ты права во всем. Прости меня, Катя.

У Даши катились крупные, как горох, слезы. Она стояла позади, на шаг от сестры и говорила громким шепотом:

— Если ты не простишь, — я больше не хочу жить. Я вообще не знаю, как мне теперь жить... А если ты еще будешь со мной такая...

Екатерина Дмитриевна быстро повернулась к ней:

— Какая, Даша? Что ты еще хочешь от меня? Тебе хочется, чтобы все опять стало благополучно и душевно?.. Так я тебе скажу.. Я потому лгала и молчала, что только этим и можно было продлить еще немного нашу жизнь с Николаем Ивановичем... А вот теперь — конец. Поняла? Я Николая Ивановича давно не люблю и давно ему неверна. А Николай Иванович любит меня или не любит — не знаю, но он мне не близок. Поняла? Может быть, у него семья другая, или ему, вообще, не нужно никакой женщины, или у него острая неврастения, — не знаю. Поняла? А ты, как зяблик, все голову под мышку прячешь, чтобы не видеть страшных вещей. Я их видела и знала, но жила в этой мерзости, потому что — слабая женщина. Я видела, как тебя эта жизнь тоже затягивает. Я старалась оберечь тебя, запретила Бессонову приезжать к нам... Это было еще до того, как он... Ну, все равно... Теперь всему этому пришел конец...

Екатерина Дмитриевна вдруг подняла голову, прислушиваясь. У Даши со страха похолодела спина. В дверях, боком, из-за портьеры, появлялся Николай Иванович. Руки его были спрятаны за спиной.

— Бессонов? — спросил он, с улыбкой покачивая головой. И продвинулся в столовую.

Екатерина Дмитриевна не ответила. На щеках ее выступили пятна, глаза высохли. Она стиснула рот.

— Ты, кажется, думаешь, Катя, что наш разговор окончен? Напрасно.

Он продолжал улыбаться:

— Даша, оставь нас одних, пожалуйста.

— Нет, я не уйду. — И Даша стала рядом с сестрой.

— Нет, ты уйдешь, если я тебя попрошу.

— Нет, не уйду.

— В таком случае, мне придется удалиться из этого дома.

— Удаляйся, — глядя на него с ненавистью, ответила Даша.

Николай Иванович побагровел, но сейчас же в глазах его мелькнуло прежнее выражение — веселенького сумасшествия.

— Тем лучше, оставайся. Вот в чем дело, Катя... Я сейчас сидел там, где ты меня оставила, и, в сущности говоря, за несколько минут пережил то, что трудно, вообще, переживаемо... Я пришел к выводу, что мне нужно тебя убить... Да, да.

При этих словах Даша быстро прижалась к сестре, обхватив ее обеими руками. У Екатерины Дмитриевны презрительно задрожали губы...

— У тебя истерика... Тебе нужно принять валерьяну, Николай Иванович...

— Нет, Катя, на этот раз — не истерика...

— Тогда делай то, за чем пришел! — крикнула она, оттолкнув Дашу, и подошла к Николаю Ивановичу вплоть. — Ну, делай! В лицо тебе говорю — я тебя не люблю!

Он попятился, положил на скатерть вытащенный из-за спины револьвер, запустил концы пальцев в рот, укусил их, повернулся и пошел к двери. Катя пронзительно глядела ему вслед. Не оборачиваясь, он проговорил:

— Мне больно!.. Мне больно!..

Тогда она кинулась к нему, схватила за плечи, повернула к себе его лицо:

— Врешь!.. Ведь врешь!.. Ведь ты и сейчас врешь!..

Но он замотал головой и ушел. Екатерина Дмитриевна присела у стола:

— Вот, Дашенька, — сцена из третьего акта, с выстрелом. Подумай сама — во что должна превратиться женщина от этой слякоти... Я уеду от него.

— Катюша!.. Господь с тобой!

— Уеду, не хочу так жить. Через пять лет — стану старая, будет уже поздно. Не могу больше так жить... Гадость, гадость!

Она закрыла лицо руками, опустила его в локти на стол. Даша, присев рядом, быстро и осторожно целовала ее в плечо. Екатерина Дмитриевна подняла голову:

— Ты думаешь — мне его не жалко? Мне всегда его жалко. Но ты, вот, подумай, — пойду сейчас к нему, и будет у нас длиннейший разговор, весь насквозь фальшивый... Точно бес какой-то всегда между нами кривит, фальшивит, слова отводит... Все равно, как играть на расстроенном рояле, так и с Николаем Ивановичем разговаривать... Нет, я уеду!.. Ах, Дашенька, если бы ты знала, какая у меня тоска! Всей жизнью, до последнего волоска, хочу любить. Любви хочу такой, чтобы каждым помыслом, всем телом моим, — любить, любить... А такую я себя ненавижу, — безгую.

К концу вечера Екатерина Дмитриевна все же пошла в кабинет.

Разговор с мужем был долгий, говорили оба тихо и горестно, старались быть честными, не щадили друг друга, и все же у обоих осталось такое чувство, что ничего этим разговором не достигнуто, и не понято, и не спаяно.

Николай Иванович, оставшись один, до рассвета сидел у стола и вздыхал. За эти часы, как впоследствии узнала Катя, он продумал и пересмотрел всю свою жизнь. Результатом было огромное письмо жене, которое кончалось так: «Да, Катя, мы все

в нравственном тупике. За последние пять лет у меня не было ни одного сильного чувства, ни одного крупного движения. Даже любовь к тебе и женитьба прошли точно впопыхах. Существование — мелкое и полуистерическое, под непрерывным наркозом. Выходов два — или покончить с собой, или разорвать эту, лежащую на моих мыслях, на чувствах, на моем сознании, душную плену. Ни того, ни другого сделать я не в состоянии...»

Семейное несчастье произошло так внезапно и домашний мир развалился до того легко и окончательно, что Даша была оглушена, и думать о себе — ей и в голову не приходило; какие уж там девичьи настроения, — чепуха, страшная коза на стене, вроде той, что давным-давно нянька Лукерья показывала им с Катей, — зажигала свечку, складывала руки, и на стене коза ела капусту, шевелила рогами.

Несколько раз на дню Даша подходила к Катиной двери и скреблась пальцем. Катя отвечала:

— Дашенька, если можешь, — оставь меня одну, пожалуйста.

Николай Иванович в эти дни должен был выступать в суде. Он уезжал рано, завтракал и обедал в ресторане, возвращался ночью. Его речь в защиту жены акцизного чиновника Ладникова, Зои Ивановны, зарезавшей в сонном состоянии на Гороховой улице своего любовника, сына петербургского домовладельца, студента Шлиппэ, потрясла судей и весь зал. Дамы рыдали. Обвиняемая, Зоя Ивановна, билась головой о загородку и была оправдана.

Николай Иванович, бледный, с провалившимися глазами, был окружен при выходе из суда толпою женщин, которые бросали цветы, взвизгивали и целовали ему руки. Из суда он проехал домой и объяснялся с Катей с полной душевной размятченностью.

У Екатерины Дмитриевны оказались сложенными чемоданы. Он по чистой совести посоветовал ей поехать на юг Франции и дал на расходы двенадцать тысяч. Сам же он, тоже во время этого разговора, решил передать дела помощнику и поехать в Крым — отдохнуть и собраться с мыслями.

В сущности, было неясно и неопределенно, — развезжаются ли они на время или навсегда, и кто кого покидает? Эти острые вопросы были старательно заслонены суетой отъезда.

О Даше оба они забыли. Екатерина Дмитриевна спохватилась только в последнюю минуту, когда, одетая в серый дорожный костюм, в изящной шапочке, под вуалькой, похудевшая, грустная и милая, увидела Дашу в прихожей на сундуке. Даша болтала ногой и ела хлеб с мармеладом, потому что сегодня обед заказать забыли.

— Родной мой, Данюша, — говорила Екатерина Дмитриевна, целуя ее через вуальку, — а ты-то как же? Хочешь, поедем со мной?

Но Даша сказала, что останется одна в квартире с Великим Моголом, будет держать экзамены и в конце мая поедет на все лето к отцу.

IX

Даша осталась одна в доме. Большие комнаты казались ей теперь неудобными и вещи в них — лишними. Даже квадратные портреты в гостиной, с отъездом хозяев, перестали пугать и поблекли. Мертвыми складками висели портьеры. На обивке кресел и диванов, на еще не убранных коврах, на обоях выступали с тоскливым однообразием неживые арабески. И хотя Великий Могол каждое утро, молча, как привидение, бродила по комнатам, отряхивая пыль метелкой из петушиных перьев, все же, словно иная, невидимая пыль все гуще покрывала дом.

Теперь, в первый раз среди этого нагромождения лишних и непонятно для чего приобретенных вещей и вещиц, Даше стало казаться, что сестра и зять словно привязывали себя к жизни этими предметами, заполняли ими пустые места, а у самих не было ни силы, ни цепкости, чтобы держаться.

В комнате сестры можно было, как по книге, прочесть все, чем жила Екатерина Дмитриевна. Вот, в углу, — маленький, точеного дерева, мольбертик с начатой картиночкой, — девушка в белом венке и с глазами в пол-лица. За этот мольбертик Екатерина Дмитриевна уцепилась было, чтобы как-нибудь вынырнуть из бешеной суеты, но, конечно, не удержалась. Вот старинный рабочий столик, в беспорядке набитый начатыми рукоделами, распоротыми шляпками, пестрыми лоскутками, все не окончено и заброшено, — тоже попытка. Такой же беспорядок в книжном шкафу, — видно, что начали прибирать и бросили. И повсюду брошены, засунуты, наполовину разрезанные книги йоги, популярны лекции по антропософии, стихи, романы. Сколько попыток и бесплодных усилий начать добрую жизнь! На туалетном столе Даша нашла серебряный блокнотик, где было записано: «Рубашек 24, лифчиков 8, лифчиков кружевных 6... Для Ведринских билеты на Дядю Ваню...» И затем, крупным, детским почерком: «Даше купить яблочный торт».

Даша вспомнила — яблочный торт так никогда и не был куплен. Ей до слез стало жалко сестру. Ласковая, добрая, слишком деликатная для этой жизни, она цеплялась за вещи и вещицы, старалась укрепиться, уберечь себя от дробления и разрушения, но чем и некому было помочь.

Даша вставала рано, садилась за книги и сдавала экзамены, почти все — «отлично». К телефону, без устали звонившему в кабинете, она посылала Великого Могола, которая отвечала неизменно: «Господа уехали, барышня подойти не могут».

Целые вечера Даша играла на рояле. Музыка не возбуждала ее, как прежде, не хотелось чего-то неопределенного, и не замирало мечтательно сердце. Теперь, сидя строго и смиренно перед тетрадью нот, озаренная с боков двумя свечами, Даша словно очищала себя торжественными звуками, наполнявшими до последних закоулков весь этот грешный дом.

Иногда среди музыки являлись маленькие враги — непрощенные воспоминания. Даша опускала руки и хмурилась. Тогда в доме становилось так тихо, что было слышно, как потрескивала свеча. Затем Даша шумно вздыхала, и вновь ее руки с силой касались холодных клавиш, а маленькие враги, точно пыль и листья, гонимые ветром, летели из большой комнаты куда-нибудь в темный коридор за шкафы и картонки... Было навек покончено с той Дашей, которая звонила у подъезда Бессонова и говорила беззащитной Кате злые слова. Ополумевшая девчонка чуть было не натворила бед. Удивительное дело! Будто один свет в окошке — любовные настроения, и любви-то никакой не было, а просто раздраженное всей этой суетой любопытство.

Часов в одиннадцать Даша закрывала рояль, задувала свечи и шла спать, — все это делалось без колебаний, деловито. За это время она решила как можно скорее начать самостоятельную жизнь, — самой зарабатывать, взять Катю к себе, окружить такими заботами, такой любовью, чтобы сестра никогда больше, во всю жизнь, не заплакала от горя.

В конце мая, сдав экзамены, Даша поехала к отцу через Рыбинск по Волге. Вечером, прямо с железной дороги, она села на белый, ярко освещенный среди ночи и темной воды пароход, разобрала в чистенькой каюте вещи, заплела косу, подумала, что самостоятельная жизнь начинается не плохо, и, положив под голову локоть и улыбаясь от счастья, заснула под мерное дрожание машины.

Разбудили ее тяжелые шаги и беготня по палубе. Сквозь жалюзи лился солнечный свет, играя на красном дереве рукомоиника жидкими переливами. Ветерок, отдувавший чесучовую штору, пахнул медовыми цветами и польнью. Она приоткрыла жалюзи. Пароход стоял у пустынного берега, где под свежееобвалившейся, в корнях и комьях, невысокой кручей стояли возы с сосновыми ящиками. У воды, расставив худые, с толстыми коленками, ноги, пил коричневый жеребенок. На круче большим красным крестом торчала маячная вежа.

Даша соскочила с койки, развернула на полу тѣб и, набрав полную губку воды, выжала ее на себя. Стало до того свежо и боязно, что она, смеясь, начала поджимать к животу колени. Потом надела приготовленные с вечера белые чулки, белое платье и белую шапочку, — все это сидело на ней ловко и строго, — и, чувствуя себя независимой, сдержанная, но страшно счастливая, вышла на палубу.

По всему белому пароходу играли жидкие отсветы солнца, на воду больно было смотреть, — река сияла и переливалась. На дальнем берегу, гористом и кудрявом, белела, по пояс в березах, старенькая колокольня.

Когда пароход отчалил и, описав полукруг, побежал вниз, на встречу ему медленно двинулись берега — луговой — пустынный и нагорный — в лесках и пестро-зеленых или каменных прольсынах. Из-за бугров, точно завалившись, выглядывали кое-где потемневшие соломенные крыши изб. В небе стояли кучевые облака с синеватыми днищами, и от них в небесно-желтоватую бездну реки падали белые тени.

Даша сидела в плетеном кресле, положив ногу на ногу, обхватив колено, и чувствовала, как сияющие изгибы реки, облака и белые их отражения, березовые холмы, луга и струи ветра, то пахнущие болотной травой, то сухостью вспаханной земли, медовой кашкой и полынью, — текут сквозь нее и тихим восторгом ширится сердце.

Какой-то человек медленно подошел, остановился сбоку у перила и, кажется, поглядывал. Даша несколько раз забывала про него, а он все стоял. Тогда она твердо решила не оборачиваться, но у нее был слишком горячий нрав, чтобы спокойно переносить такое разглядыванье. Она покраснела и быстро, гневно обернулась. Перед ней стоял Телегин, держась рукой за столбик, и не решался ни подойти, ни заговорить, ни скрыться. Даша неожиданно засмеялась, — он ей напомнил что-то неопределенно веселое и доброе. Да и весь Иван Ильич, широкий в белом кителе, сильный и застенчивый, точно необходимым завершением появился из всего этого речного покоя. Она протянула ему руки. Здороваясь, Телегин сказал:

— Я видел, как вы садились на пароход. В сущности, мы ехали с вами в одном вагоне от Петербурга. Но я не решился подойти — вы были очень озабочены... Я вам не мешаю?

— Садитесь, — она пододвинула ему плетеное кресло, — еду к отцу, а вы куда?

— Я-то, в сущности говоря, еще не знаю. Пока — в Кинешму, к родным.

Телегин сел рядом и снял шляпу. Брови его сдвинулись, по лбу пошли морщины. Суженными глазами он глядел на воду, вогну-

той, пенящейся дорогой выбегающую из-под парохода. Над ней, как комары, за кормой летели острокрылые мартыны, падали на воду, взлетали с хриплыми, жалобными криками и, далеко отстав, кружились и дрались над плывущей хлебной коркой.

— Приятный день, Дарья Дмитриевна, — сказал Телегин.

— Такой день, Иван Ильич, такой день! Я сижу и думаю: как из ада на волю вырвалась, честное слово. Помните наш разговор на улице?

— Помню до последнего слова, Дарья Дмитриевна.

— После этого такое началось, не дай бог! Я вам как-нибудь расскажу. — Она задумчиво покачала головой. — Вы были единственным человеком, который не сходил с ума в Петербурге, так мне представляется. Поэтому мне с вами приятно. — Она нежно улыбнулась и положила ему руку на рукав. У Ивана Ильича испуганно дрогнули веки, поджались губы. — Я вам очень доверяю, Иван Ильич. Вы очень сильный? Правда?

— Ну какой же я сильный?

— И верный человек. — Даша чувствовала, что все мысли ее — добрые, ясные и любовные, и такие же добрые, верные и сильные мысли были у Ивана Ильича. И особая радость была в том, чтобы говорить — выражать прямо эти светлые волны чувств, подходящие к сердцу. — Мне представляется, Иван Ильич, что если вы любите, то мужественно, кротко, уверенно. А если чего-нибудь захотите, то не отступитесь.

Не отвечая, Иван Ильич медленно полез в карман, вытащил оттуда кусок хлеба и стал бросать птицам. Целая стая белых мартынов с тревожными криками кинулась ловить крошки. Даша и Иван Ильич подошли к борту.

— Вот этому киньте, — сказала Даша, — смотрите, какой голодный.

Телегин далеко в воздух швырнул остаток хлеба. Жирный, головастый мартын скользнул на недвижающихся, распластанных, как ножи, крыльях, налетел и промахнулся, и сейчас же штук десять их понеслось вслед за падающим хлебом до самой воды, теплой пеной бьющей из-под борта. Даша сказала:

— Мне хочется быть, знаете, какой женщиной? Перестать волноваться на свой счет. Жить так, как утром по росе босиком бегать. На будущий год кончу курсы, начну зарабатывать много денег, возьму жить к себе Катю, буду совершенно новым человеком. Увидите, Иван Ильич, какая стану. Тогда перестанете меня презирать.

Во время этих слов Телегин морщился, удерживался и наконец раскрыл рот с крепким, чистым рядом крупных зубов и захохотал так весело, что взмокли ресницы. Даша вспыхнула, оскорбилась, но и у нее запрыгал подбородок, и не хотела, а рас-

смеялась, так же как и Телегин, в сущности говоря, сама не зная чему.

— Дарья Дмитриевна, — проговорил он наконец, — вы замечательная... я вначале вас боялся до смерти... Но вы прямо замечательная!

— Ну, вот что — идемте завтракать, — сказала Даша сердито.

— С удовольствием.

Иван Ильич велел вынести столик на палубу и, глядя на карточку, озабоченно стал скрести чисто выбритый подбородок.

— Что вы думаете, Дарья Дмитриевна, относительно бутылки легкого белого вина?

— Немного выпью, с удовольствием.

— Шабли или Барзак?

Даша так же деловито ответила:

— Или то или другое.

— В таком случае — выпьем шипучего.

Мимо плыл холмистый берег с атласно-зелеными полосами пшеницы, зелено-голубыми — ржи и розоватыми — зацветающей гречихи. За поворотом, над глинистым обрывом, на навозе, под шапками соломы, стояли приземистые избы, отсвечивая окошечками. Подальше — десяток крестов деревенского кладбища и шестикрылая, как игрушечная, мельница с проломанным боком. Стайка мальчишек бежала вдоль кручи за пароходом, кидая камнями, не долетавшими даже до воды. Пароход повернул, и на пустынном берегу — низкий кустарник, и коршуны над ним.

Теплый ветерок поддувал под белую скатерть, под платье Даши. Золотистое вино в граненых больших рюмках казалось Божьим даром. Даша сказала, что завидует Ивану Ильичу, — у него есть свое дело, уверенность в жизни, а вот ей еще полтора года корпеть над книгами, и при том такое несчастье, что она — женщина. Телегин, смеясь, ответил:

— А меня ведь с Обуховского-то завода выгнали.

— Что вы говорите!

— В двадцать четыре часа, чтобы духу не было. Иначе зачем бы я на пароходе оказался. Вы разве не слышали, какие у нас дела творились?

— Нет, нет.

— Я-то вот дешево отделался. Да... — Он помолчал, положив локти на скатерть. — Вот, подите же, до чего у нас все делается глупо и бездарно, — на редкость. И, черт знает, какая слава о нас идет, о русских. Обидно и совестно. Подумайте, — талантливый народ, богатейшая страна, а какая видимость? — Видимость: наглая, раскосая, писарская рожа. Вместо жизни — бумага и чернила. Вы не можете себе представить, сколько у нас изводится

бумаги и чернил. Как начали отписываться при Петре Великом, так до сих пор не можем остановиться. И ведь оказывается, — кровавая вещь — чернила, представьте себе.

Иван Ильич отодвинул стакан с вином и закурил. Ему, видимо, было неприятно рассказывать все дальнейшее.

— Ну, да что вспоминать. Думать надо, что и у нас когда-нибудь хорошо будет, не хуже, чем у людей.

Весь этот день Даша и Иван Ильич провели на палубе. Постороннему наблюдателю показалось бы, что они говорят чепуху, но это происходило оттого, что они разговаривали шифром. Слова, самые обычные, таинственно и непонятно получали двойной смысл, и когда Даша, указывая глазами на пухленькую барышню, с удивленно-круглыми глазами и с отдувающимся за ее спиной розово-лиловым шарфом, и на сосредоточенно шагающего рядом с ней второго помощника капитана, говорила: «Смотрите, Иван Ильич, у них, кажется, дело идет на лад», — нужно было понимать: «Если бы у нас с вами что-нибудь случилось, — было бы совсем не так». Никто из них не мог бы вспомнить по чистой совести, что он говорил, но Ивану Ильичу казалось, что Даша гораздо умнее, тоньше и наблюдательнее его, Даше казалось, что Иван Ильич добрее ее, лучше, умнее раз в тысячу.

Даша собиралась несколько раз с духом, чтобы рассказать ему о Бессонове, но раздумывала; солнце грело колени, ветер касался щеки, плечей, шеи, словно круглыми и ласковыми пальцами, хлопающий флаг на носу, веревочная решетка борта, серый, блестящий пол — все это вместе с нею и Иваном Ильичом медленно плыло между облаками, мимо невысоких и кротких берегов. Даша думала: «Нет, расскажу ему завтра. Пойдет дождик — тогда расскажу».

Даша, любившая наблюдать и наблюдательная, как все женщины, знала к концу дня, приблизительно, всю подноготную про всех едущих на пароходе. Ивану Ильичу казалось это почти чудом.

Про ректора Петербургского университета, угрюмого человека, в дымчатых очках и крылатке, Даша решила почему-то, что это очень крупный пароходный шулер. И хотя Иван Ильич знал, что это ректор, теперь ему тоже запало подозрение — не шулер ли. Вообще, его представление о действительности пошатнулось за этот день. Он чувствовал не то головокружение, не то сон в яви, и, почти не в силах выдерживать время от времени подступающую волну любви ко всему, что видит и слышит, присматривался — хорошо бы сейчас, например, броситься в воду вон за той стриженной девочкой, если она упадет за борт. Вот бы упала!

В первом часу ночи Даша до того сразу и сладко захотела спать, что едва дошла до каюты и, прощаясь в дверях, сказала, зевая:

— Прощайте. Смотрите, присматривайте за шулером-то.

Иван Ильич сейчас же пошел в рубку первого класса, где ректор, страдающий бессонницей, читал сочинения Дюма-отца, поглядел на него некоторое время, подумал, что — это прекрасный человек, несмотря на то, что шулер, затем вернулся в ярко освещенный коридор, где пахло машиной, лакированным деревом и духами Даши, на цыпочках прошел мимо ее двери и у себя в каюте, повалившись на спину на койку и закрыв глаза, почувствовал, что весь потрясен, весь полон звуками, запахами, жаром солнца и острой, заглушающей все это, непонятной грустью.

В седьмом часу утра его разбудил рев парохода. Подходили к Кинешме. Иван Ильич быстро оделся и выглянул в коридор. Все двери были закрыты, все еще спали. Спала и Даша. «Мне слезть необходимо, иначе получается черт знает что», — подумал Иван Ильич и вышел на палубу, глядя на эту самую, некстати подоспевшую, Кинешму на крутом и высоком берегу, с деревянными лестницами, с деревянными, точно кое-как нагороженными, наваленными домишками, заборами, с яркими, по-утреннему желтовато-зелеными липами городского парка, с неподвижно висящим облаком пыли над возами, тянущимися по городскому спуску. Широкомордый матрос, твердо ступая по палубе пятками босых ног, появился с рыжим чемоданом Телегина...

— Нет, нет, я передумал, назад несите, — взволнованно проговорил ему Иван Ильич, — я, видите ли, до Нижнего решил ехать. В Кинешму мне и не особенно было нужно. Вот сюда ставьте, под койку. Благодарю вас, голубчик.

В каюте Иван Ильич просидел часа три, придумывая, как объяснить Даше свой, по его пониманию, пошлый и навязчивый поступок, и было ясно, что объяснить невозможно: — ни со- врать, ни сказать правду.

В одиннадцатом часу, раскаиваясь, ненавидя и презирая себя, он появился на палубе, — руки за спиной, походочка какая-то ныряющая, лицо фальшивое, — словом, тип пошляка. Но, обойдя кругом палубу и не найдя Даши, Иван Ильич взволновался, стал заглядывать повсюду. Даши не было нигде. У него пересохло во рту. Очевидно, что-то случилось. И вдруг он прямо наткнулся на нее. Даша сидела на вчерашнем месте, в плетеном кресле, грустная и тихая. На коленях у нее лежали книжка и груша. Она медленно повернула голову к Ивану Ильичу, глаза ее расширились, точно от испуга, залились радостью, на щеки взошел румянец, груша покатила с колен.

— Вы здесь? Не слезли? — проговорила она тихо. Иван Ильич проглотил волнение, сел рядом и сказал глухим голосом:

— Не знаю, как вы взглянете на мой поступок, но я намеренно не вылез в Кинешме.

— Как я посмотрю на ваш поступок? Ну, этого я не скажу. — Даша засмеялась, и неожиданно, так что у Ивана Ильича снова на весь день, сильнее вчерашнего, пошла кружиться голова, положила ему в ладонь свою руку, просто и нежно.

Х

На самом деле на Обуховском заводе произошло следующее. В дождливый вечер, затянувший ветренными облаками фосфорическое небо, в узком переулке, вонючем и грязном той особенной, угольно-железной грязью, какую бывают сплошь залиты прилегающие к большим заводам улицы, в толпе рабочих, идущих после свистка по домам, появился неизвестный человек, в резиновом плаще с поднятым капюшоном.

Некоторое время он шел вслед за всеми, затем остановился и направо и налево стал раздавать листки, говоря сиповатым голосом:

«От Центрального Комитета. Прочтите, товарищ».

Рабочие на ходу брали листки и прятали в карманы и под шапки. За последнее время в мрачную и озлобленную массу рабочих, ревниво охраняемую властями, сквозь все щели проникали подобные молодые люди, посылаемые невидимыми друзьями. Они появлялись под видом служащих, чернорабочих, продавцов или вот так — в плаще с капюшоном. Они подкидывали листки, раздавали книги; пускали слухи, разъясняли злоупотребления администрации и все повторяли одно: «Если хотите быть людьми, а не скотами, — учитесь ненавидеть тех, на кого работаете». Рабочие чувствовали и понимали, что на царскую власть, заставлявшую их работать двенадцать часов в сутки, отгородившую их от богатой и веселой жизни города грязными переулками и постами ночных сторожей, вынуждавшую рабочих дурно есть, грязно одеваться, жить с неряшливыми и рано стареющими женщинами, посылать дочерей в проститутки, а мальчиков в постылую каторгу фабрик, — на эту власть нашлась управа — Центральный Комитет Рабочей Партии. Он был неуловим и невидим. Рабочие ненавидели власть с чугунной скукой, Центральный Комитет ненавидел ее деятельно и едко. Он не уставая повторял: требуйте, кричите, возмущайтесь. Вас учили — будьте добрыми, — провокация! Добродетель пролетария — ненависть. Вам говорили — терпите и прощайте, — издевательство! Вы не рабы. Ненавидьте

и организуйтесь. Вам внушали — любите ближнего. Но ближний пользуется этой любовью, чтобы запрячь ее в ярмо. Вы одурачены. Есть одна достойная человека любовь — любовь к свободе. Помните, — Россия построена вашими руками. Вы одни законные хозяева Российского государства.

Когда человек в резиновом плаще роздал почти все листочки, около него, сильно протиснувшись плечом сквозь толпу, появился ночной сторож и, проговорив поспешно: «Погоди-ка», — схватил сзади за плащ. Но человек, мокрый и скользкий, вывернулся и, пригибаясь к земле, побежал. Раздался резкий свисток, в ответ, издав далеко, заверещал другой. По редееющей толпе пошел глухой говор. Но дело было сделано, и человек в плаще исчез.

Дня через два на Обуховском заводе, неожиданно для администрации, с утра не встал на работу токарный цех и предъявил требования, не особенно серьезные, но решительные.

По длинным заводским корпусам, мутно освещенным сквозь грязные окна и закопченные стеклянные крыши, полетели, как искорки, неопределенные фразы, замечания и злые словечки. Рабочие, стоя у станков, странно взглядывали на проходящее начальство и в сдержанном возбуждении ждали каких-то указаний.

Старшему мастеру Павлову, доносчику и нашептывателю, вертевшемуся около гидравлического пресса, нечаянно раздавили всю ступню раскаленной болванкой. Он дико закричал, и тогда по заводу пошел слух, что кого-то уже убили. В девять часов на заводской двор, как буря, влетел огромный черный лимузин главного инженера.

Иван Ильич Телегин, придя в обычный час в литейную, огромную постройку в виде цирка, с разбитыми кое-где стеклами, с висящими цепями передвижных кранов, с плавильными горнами у стен и земляным полом, остановился в дверях, передернул плечами от утреннего холодка и за руку, весело, поздоровался с подошедшим мастером — Пунько.

В литейной был получен спешный заказ на моторные станины, и Иван Ильич заговорил с Пунько о предстоящей работе, деловито и вдумчиво советуясь с ним о тех вещах, которые были для них обоих несомненны. Эта маленькая хитрость вела к тому, что Пунько, поступивший в эту литейную пятнадцать лет тому назад простым чернорабочим, а теперь — старший мастер, очень высоко ставивший свои знания и опыт, остался вполне довольным беседой, самолюбие его было удовлетворено, а Телегин был уверен, что если Пунько доволен, то работа пойдет споро.

Обойдя литейную, Иван Ильич поговорил с литейщиками и формовщиками, с каждым тем полушутливо-товарищеским тоном, который наиболее точно определял их взаимоотношения: мы оба стоим на одной работе, значит — товарищи, но я инже-

нер, вы рабочий, и по существу мы — враги, но так как мы друг друга любим и уважаем, то нам ничего не остается, как подшучивать друг над другом.

К одному из горнов, стуча спускающейся цепью, подкатил кран. Филипп Шубин и Иван Орешников, мускулистые и рослые рабочие, один похожий на Пугачева, черный, с проседью и в круглых очках, другой — с кудрявой бородой, со светлыми, повязанными ремешком волосами, голубоглазый и атлетически сильный — любимец Ивана Ильича, принялись: один — ломом отдирать доску с лицевой стороны горна, другой — наводить на белый от жара, высокий тигель клещи. Цепь затрещала, тигель подался и, шипя, светясь и роняя корки нагара, поплыл по воздуху к середине мастерской.

— Стоп, — сказал Орешников, — снижай.

Опять загромыхала лебедка, тигель опустился, и ослепительная струя бронзы, раскидывая лопающиеся, зеленые звезды, озаряя оранжевым заревом шатровый потолок мастерской, полилась под землю. Запахло гарью приторно сладкой меди.

В это время двустворчатые двери, ведущие в соседний корпус, распахнулись, и в литейную быстро и решительно вошел молодой рабочий с бледным и злым лицом.

— Кончай работу.. Снимайся! — крикнул он отрывистым, жестоким голосом и покосился на Телегина. — Слышали? Али нет?

— Слышали, слышали, не кричи, — ответил Орешников спокойно и поднял голову к лебедке. — Димитрий, не спи, вытравливай.

— Ну, слышали — понимайте сами, второй раз просить не станем, — сказал рабочий, сунул руки в карманы и, бойко повернувшись, вышел.

Иван Ильич, присев над свежей отливкой, осторожно расковыривал землю куском проволоки. Пунько, сидя на высоком стуле у дверей перед конторкой, быстро начал гладить серую, козлиную бородку и сказал, бегая глазами:

— Хочешь не хочешь, значит, а дело бросай. А ребяташек чем кормить, если тебе по шапке дадут с завода — об этом молодцы эти думают али нет?

— Этих делов ты лучше бы не касался, Василий Степанович, — ответил Орешников густым голосом.

— То есть это как же не касаться?

— Так, это наша каша. С голоду не твои дети пузыри станут пускать... Ты-то уж забежишь к начальству, в глаза взглянешь. По этому случаю — молчи.

— Из-за чего забастовка? — спросил, наконец, Телегин. — Какие требования?.. — Орешников, на которого он взглянул, отвел глаза. Пунько ответил:

— Слесаря забастовали. На прошлой неделе у них шестьдесят станков перевели на сдельную работу, для пробы. Ну вот и получается, что не дорабатывают, сверхсрочные часы приходится выстаивать. Да у них целый список в шестом корпусе на двери прибит, требования разные, не большие.

Он сердито обмакнул перо в пузырек и принялся сводить ведомость. Телегин заложил руки за спину, прошелся вдоль горнов, потом сказал, глядя в круглое отверстие, за которым в белом, нестерпимом огне танцевала, ходила змеями кипящая бронза.

— Орешников, как бы штука-то эта у нас не перестоялась, а?

Орешников, не отвечая, снял кожаный фартук, повесил его на гвоздь, надел барашковую шапку и длинный, добротный пиджак и проговорил густым, наполненным всю мастерскую басом:

— Снимайтесь, товарищи. Есть желающие, — приходите в шестой корпус, к средним дверям.

И пошел к выходу. Рабочие молча побросали инструменты, кто спустился с лебедки, кто вылез из ямы в полу, и толпой двинулись за Орешниковым. И вдруг в дверях что-то произошло, — раздался срывающийся на визг, иступленный голос:

— Пишешь?.. Пишешь, сукин сын! На, записывай меня!.. Доноси начальству!.. — Это кричал на Пунько формовщик, Алексей Носов; изможденное, давно не бритое лицо его, с провалившимися, мутными глазами, прыгало и перекашивалось, на тонкой шее надулась жила; крича, он бил черным кулаком в край конторки. — Кровопийцы!.. Мучители!.. Найдем и на вас ножик!..

Тогда Орешников схватил Носова за туловище, легко отодрал от конторки и повел к дверям. Тот сразу затих. Мастерская опустела.

К полудню забастовал весь завод. Ходили слухи, что неспокойно на Балтийском и на Невском судостроительном. Рабочие большими группами стояли на заводском дворе и ждали — к чему поведут переговоры администрации со стачечным комитетом, как выяснилось, уже давно существовавшим. Забастовка была делом его рук.

Заседали в конторе. Администрация шла на уступки. Задержка теперь была только за дверцей в дощатом заборе, которую рабочие требовали открыть, иначе им приходится обходом месить четверть версты по грязи. Дверца никому, в сущности, была не нужна, но дело пошло на самолюбие, администрация вдруг уперлась, и начались длинные прения. Стачечный комитет поставил вопрос о дверце на социальную плоскость. И в это время по телефону из министерства внутренних дел получился приказ: отказать стачечному комитету во всех требованиях и, впредь до особого распоряжения, ни в какие разговоры с ним не вступать.

Приказ этот настолько портил все дело, что старший инженер немедленно умчался в город для объяснений. Рабочие недоумевали, настроение было, скорее, мирное. Несколько инженеров, выйдя к толпе, объяснялись, разводили руками. Кое-где раздавался даже смех. Никто не верил, что из-за пустой какой-нибудь дверцы остановится целый завод. Наконец на крыльце конторы появился огромный, тучный, седой инженер Бульбин и прокричал на весь двор, что переговоры отложены на завтра.

Иван Ильич, пробыв в мастерской до вечера и видя, что горны все равно погаснут, плюнул и поехал домой. В столовой сидели футуристы и, оказывается, живо интересовались тем, что делается на заводе. Но Иван Ильич ничего рассказывать не стал, задумчиво сжевал подложженные ему Елизаветой Киевной бутерброды и ушел к себе, заперся на ключ и лег спать.

На следующий день, подъезжая к заводу, он еще издали увидел, что дело не ладно. По всему переулку стояли кучки рабочих и совещались. Около ворот собралась огромная толпа в несколько сот человек и гудела, как потревоженный улей.

Иван Ильич был в мягкой шляпе и штатском пальто, на него не обращали внимания, и он, прислушиваясь к отдельным кучкам спорящих, узнал, что ночью был арестован весь стачечный комитет, что и сейчас продолжают аресты среди рабочих, что выбран новый комитет, заседающий тайно, где-то в пивной, что требования, предъявленные ими теперь, — уже политические, что весь заводской двор полон казаками и, говорят, был дан приказ — разгонять толпу, но казаки будто бы отказались и что, наконец, Балтийский, Невский судостроительный, Французский и несколько мелких заводов присоединились к забастовке.

Все это было настолько невероятно, что Иван Ильич решил пробраться в контору — узнать новости, но с величайшим трудом протискался только до ворот. Там, около знакомого сторожа Бабкина, угрюмого человека в огромном тулупе, стояли два рослых казака в надвинутых на ухо бескозырках и с русыми бородами на две стороны. Весело и дерзко поглядывали они на невыспавшиеся, нездоровые лица рабочих, были оба румяны, опрятны и, должно быть, ловки драться и зубоскалить.

«Да, эти мужики стесняться не станут», — подумал Иван Ильич и хотел было войти во двор, но ближайший к нему казак загородил дорогу и, в упор глядя веселыми, ясными глазами, сказал:

— Куда? Осади!

— Мне нужно пройти в контору, я инженер.

— Осади, говорят!

Тогда из толпы послышались голоса:

— Нехристи! Опричники!

— Мало вам нашей крови пролито!

— Черти сытые! Помещики!

В это время в первые ряды протискался низенький прыщавый юноша, с большим и кривым носом, в огромном, не по росту, пальто и неловко надетой рыжеватой высокой шапке на курчавых волосах. Помахивая недоразвитой, очень белой ручкой, он заговорил, картавя:

— Товарищи казаки! Разве мы не все русские? На кого вы поднимаете оружие? На своих же братьев. Разве мы ваши враги, чтобы нас расстреливать? Чего мы хотим? Мы хотим счастья всем русским. Мы хотим, чтобы каждый человек был свободен. Мы хотим уничтожить произвол...

Казак, поджав губы, презрительно оглядел молодого человека с головы до ног, повернулся и зашагал в воротах. Другой ответил внушительно, книжным голосом:

— Никаких бунтов допустить мы не можем, потому что мы присягу принимали.

Тогда первый, очевидно, придумав ответ, крикнул курчавому юноше:

— Братья, братья... Ты штаны-то подтяни, а то потеряешь.

И оба казака засмеялись.

Иван Ильич отодвинулся от ворот, движением толпы его понесло в сторону, к забору, где валялись заржавленные чугунные шестерни. Он попытался было забраться на них и увидел Орешникова, который, сдвинув на затылок барашковую шапку, спокойно жевал хлеб. Телегину он кивнул бровями и сказал басом:

— Вот, дела-то хороши, Иван Ильич.

— Здравствуйте, Орешников. Чем же это все кончится?

— А вот мы покричим малое время да и шапку снимем. Только и всех бунтов. Пригнали казаков. А чем мы с ними воевать будем? Вот этой разве луковицей бросить — убить двоих. Чудаки.

В это время по толпе прошел ропот и стих. В тишине у ворот раздался отрывистый командный голос:

— Господа, прошу вас расходиться по домам. Ваши просьбы будут рассмотрены. Прошу вас спокойно разойтись.

Толпа заволновалась, двинулась назад, в сторону. Иные отошли, иные продвинулись. Говор усилился. Орешников сказал:

— Третий раз честью просит.

— Кто это говорил?

— Есаул.

— Товарищи, товарищи, не расходитесь, — послышался взволнованный голос, и сзади Ивана Ильича на шестерни вскочил бледный, возбужденный человек в большой шляпе, с растрепанной черной бородой, под которой изящный пиджак его был заколот английской булавкой на горле.

— Товарищи, ни в каком случае не расходиться, — зычно заговорил он, протянув руки со сжатыми кулаками, — нам достоверно известно, что казаки стрелять отказались. Администрация ведет переговоры через третьих лиц со стачечным комитетом. Мало того, железнодорожники обсуждают сейчас всеобщую забастовку. В правительстве паника.

— Bravo! — завопил чей-то исступленный голос. Толпа загудела, оратор нырнул в нее и скрылся. Было видно, как по переулку подбегали люди.

Иван Ильич поискал глазами Орешникова, но тот стоял уже далеко у ворот. Несколько раз до слуха долетело: «Революция, революция».

Иван Ильич чувствовал, как все в нем дрожит испуганно-радостным возбуждением. Взобравшись на шестерни, он оглядывал огромную теперь толпу и вдруг в двух шагах от себя увидел Акундина, — он был в очках, в картузе с большим козырьком и черной накидке. Нагнув голову, он упрямо грыз ноготь на большом пальце. К нему протиснулся господин с дрожащими губами, в котелке. Телегин слышал, как он крикнул Акундину:

— Идите, Иван Аввакумович, вас ждут!

— Я не приду. — Акундин откусил ноготь и невидящими глазами глядел на подошедшего.

— Собрался весь комитет. Без вас, Иван Аввакумович, не хотят принимать решения.

— Я остаюсь при особом мнении, это известно.

— Вы с ума сошли. Вы видите, что делается. Я вам говорю, что с минуты на минуту начнется расстрел... — У господина в котелке запрыгали губы.

— Во-первых, не кричите, — проговорил Акундин, — ступайте и выносите компромиссное решение. Я своего голоса назад не возьму..

— Черт знает, черт знает, сумасшествие какое-то! — проговорил господин в котелке и протискался в толпу. К Акундину боком пододвинулся вчерашний рабочий, снявший людей в мастерской Телегина. Акундин что-то сказал ему, тот кивнул и скрылся. Затем то же самое — короткая фраза и кивок головы — произошло с другим, неизвестным Телегину рабочим. Было похоже, что Акундин отдает какие-то приказания. В толпе, по ту сторону ворот, опять закричали, заволновались. И вдруг раздалось три подряд коротких, сухих выстрела. Сразу настала тишина. И придушенный голос, точно по-нарочному, затянул: «а-а-а». Толпа подалась и отхлынула от ворот. На разбитой ногами грязи лежал ничком, с подогнутыми к животу коленями, казак. И сейчас же пошел крик по всему народу: «Не надо, не надо!» Это отворяли ворота. Но откуда-то сбоку хлопнул четвертый револьверный

выстрел, и полетело несколько камней, ударившись о железо. В эту минуту Телегин увидел Орешникова, стоявшего без шапки, с открытым ртом, одного, впереди уже беспорядочно бегущей толпы. Он точно врос от ужаса в землю огромными сапогами. И одновременно полоснули, как удары бича, длинные, раздражающие воздух, винтовочные выстрелы, — один, два и залп, — и мягко осел на колени, повалился навзничь Орешников.

Через неделю было окончено расследование происшествия на Обуховском заводе. Иван Ильич попал в список лиц, подозреваемых в сочувствии рабочим. Вызванный в контору, он, неожиданно для всех, наговорил резкостей администрации и подписал отставку.

XI

Доктор Дмитрий Степанович Булавин, отец Даши, сидел в столовой около большого помятого и валившего паром самовара и читал местную газету — «Самарский листок». Когда папираса догорала до ваты, доктор брал из толстого набитого портсигара новую, закуривал ее об окурок, кашлял, весь багровея, и почесывал под раскрытой рубашкой волосатую грудь. Читая, он прихлебывал с блюдца жидкий чай и сыпал пеплом на газету, на рубаху, на скатерть.

Когда за дверью послышался скрип кровати, затопали ноги и в столовую вошла Даша, в накинутом на рубашку белом халатике, вся еще розовая и сонная, Дмитрий Степанович посмотрел на дочь поверх треснувшего пенсне серыми, холодными, как у Даши, насмешливыми глазами и подставил ей щеку. Даша поцеловала его и села напротив, пододвинув хлеб и масло.

— Опять ветер, вот скука, — сказала она. Действительно, второй день дул сильный, горячий ветер. Известковая пыль тучей висела над городом, заслоняя солнце. Густые, колючие облака этой пыли порывами проносились вдоль улиц, и было видно, как спиною к ним поворачивались редкие прохожие и морщились нестерпимо. Пыль проникала во все щели, сквозь рамы окон, лежала на подоконниках тонким слоем и хрустела на зубах. От ветра дрожали стекла и громыхала железная крыша. При этом было жарко, душно и даже в комнатах пахло улицей.

— Эпидемия глазных заболеваний. Недурно, — сказал Дмитрий Степанович. Даша не ответила, только вздохнула.

Две недели тому назад на сходнях парохода она простилась с Телегиным, проводившим ее, в конце концов, до Самары, и с тех пор без дела жила у отца в новой, ей незнакомой, пустой квартире, где в зале стояли нераспечатанные ящики с книгами, до сих

пор не были повешены занавеси, ничего нельзя найти, некуда приткнуться, как на постоялом дворе.

Помешивая чай в стакане, Даша с тоской глядела, как за окном летят снизу вверх клубы серой пыли. Ей казалось, что вот — прошли два года, как сон, и она опять дома, а от всех надежд, волнений, людской пестроты, — от шумного Петербурга, — остались только вот эти пыльные облака.

— Эрцгерцога убили, — сказал Дмитрий Степанович, переворачивая газету.

— Какого?

— То есть как какого? Австрийского эрцгерцога убили в Сараеве.

— Он был молодой?

— Не знаю. Налей-ка еще стакан.

Дмитрий Степанович бросил в рот маленький кусочек сахара, — он пил всегда вприкуску, — и насмешливо оглядел Дашу.

— Скажи на милость, — спросил он, поднимая блюдечко, — Екатерина окончательно разошлась с мужем?

— Я же тебе рассказывала, папа.

— Ну, ну..

И он опять принялся за газету. Даша подошла к окну. Какое уныние! И она вспомнила белый пароход и, главное, солнце повсюду, — синее небо, река, чистая палуба, и все, все полно солнцем, влагой и свежестью. Тогда казалось, что этот сияющий путь — широкая, медленно извинаящаяся река — ведет к счастью: этот простор воды и пароход «Федор Достоевский», вместе с Дашей и Телегиным, вольются, войдут в синее, без берегов, море света и радости — счастье.

И Даша тогда не торопилась, хотя понимала, что переживал Телегин, и ничего не имела против этого переживания. Но к чему было спешить, когда каждая минута этого пути и без того хороша, и все равно же приплывут к счастью.

Иван Ильич, подъезжая к Самаре, осунулся в лице, перестал шутить и все что-то путал. Даша думала, — плывем к счастью, и чувствовала на себе его взгляд, такой, точно сильного, веселого человека переехали колесами. Ей было жалко его, но что она могла поделать, как допустить его до себя, хотя бы немножко, если тогда, — она это понимала, — сразу начнется то, что должно быть в конце пути. Они не доплывут до счастья, а на полдороге нетерпеливо и неумно разворуют его. Поэтому она была нежна с Иваном Ильичом, и только. Ему же казалось, что он оскорбит Дашу, если хоть словом намекнет на то, из-за чего не спал уже четвертую ночь и чувствовал себя в том особом, наполовину прозрачном, мире, где все внешнее скользило мимо, как тени в голубоватом тумане, где грозно и тревожно горели серые глаза

Даши, где действительностью были лишь запахи, свет солнца и неперестающая боль в сердце.

В Самаре Иван Ильич пересел на другой пароход и уехал обратно. А Дашино сияющее море, куда она так спокойно плыла, исчезло, рассыпалось, поднялось клубами пыли за дребезжащими стеклами.

— А зададут австрияки трепку этим самым сербам, — сказал Дмитрий Степанович, снял с носа пенсне и бросил его на газету. — Ну а ты что думаешь о славянском вопросе, кошка?

— Обедать, папа, ты приедешь? — проговорила Даша, возвращаясь к столу.

— Ни под каким видом. У меня скарлатина-с на Постниковой даче.

— В эту пыль ехать на дачу — с ума надо сойти.

Дмитрий Степанович не спеша взял со стола, надел манишку, застегнул чесучовый пиджак, осмотрел по карманам — все ли на местах, и сломанным гребешком начал начесывать на лоб седые, кудрявые волосы.

— Ну, так как же, все-таки, насчет славянского вопроса, а?

— Ей-богу, не знаю, папа. Что ты, в самом деле, пристаешь ко мне.

— А я кое-какое имею собственное мнение, Дарья Дмитриевна. — Ему, видимо, очень не хотелось ехать на дачу, да и вообще Дмитрий Степанович любил поговорить утром, за самоваром, о политике. — Славянский вопрос, — ты слушаешь меня? — это гвоздь мировой политики. На этом много народу сломают себе шею. Вот почему место происхождения славян, Балканы, не что иное, как европейский аппендицит. В чем же дело? — ты хочешь меня спросить. Изволь. — И он стал загигать толстые пальцы. — Первое, славян — более двухсот миллионов, и они плодятся, как кролики. Второе, — славянам удалось создать такое мощное военное государство, как Российская империя. Третье, — мелкие славянские группы, несмотря на ассимиляцию, организуются в самостоятельные единицы и тяготеют к так называемому всеславянскому союзу. Четвертое, — самое главное, — славяне представляют из себя морально совершенно новый и в некотором смысле чрезвычайно опасный для европейской цивилизации тип — богоискателя. И богоискательство, — ты слушаешь меня, кошка? — есть отрицание и разрушение всей современной цивилизации. Я ищу Бога, то есть правды, в самом себе. Для этого я должен быть свободен, и я разрушаю моральные устои, под которыми я погребен, разрушаю государство, которое держит меня на цепи, и я спрашиваю — почему нельзя лгать? нельзя красть? нельзя убивать? Отвечай, почему? Ты думаешь, что правда лежит только в добре?

— Папочка, поезжай на дачу, — сказала Даша уныло.

— Нет, ищи правду там, — Дмитрий Степанович потыкал пальцем, словно указывая на подполье, но вдруг замолчал и обернулся к двери. В прихожей трещал звонок. — Даша, поди, отвори.

— Не могу, я раздета.

— Матрена! — закричал Дмитрий Степанович. — Ах, баба проклятая; оторву ей голову как-нибудь. — И сам пошел отворять парадное и сейчас же вернулся, держа в руке письмо.

— От Катюшки, — сказал он, — подожди, не хватай из рук, я сначала доскажу... Так вот, — богоискательство прежде всего начинается с разрушения, и этот период очень опасен и заразителен. Как раз этот момент болезни Россия сейчас и переживает... Попробуй, выйди вечером на главную улицу — только и слышно орут: «Кара-у-у-ул». По улице шатаются горчишники (слободские ребята и фабричные), озорство такое, что полиция с ног сбилась. Эти ребята — безо всяких признаков морали — хулиганы, мерзавцы, горчишники — богоискатели. Поняла, кошка? Сегодня они озоруют на главной улице, завтра начнут озоровать во всем государстве Российском: безобразничать во имя разрушения, и только. Никакой другой сознательной цели у них нет. А в целом народ переживает первый фазис богоискательства — разрушение основ.

Дмитрий Степанович засопел, закуривая папиросу. Даша вытащила у него из кармана Катино письмо и ушла к себе. Он же некоторое время еще что-то доказывал, ходил, хлопая дверьми, по большой, наполовину пустой, пыльной квартире с крашеными полами, затем уехал на дачу.

«Данюша, милая, — писала Катя, — до сих пор ничего не знаю ни о тебе, ни о Николае. Я живу в Париже. Здесь сезон в разгаре. Носят очень узкие внизу платья, в моде — шифон. Куда поеду в конце июня — еще не знаю. Париж очень красив. И все решительно, — вот бы тебе посмотреть, — весь Париж танцует танго. За завтраком, между блюд — встают и танцуют, и в пять часов, и за обедом, и так до утра. Я никуда не могу укрыться от этой музыки, она какая-то печальная, мучительная и сладкая. Мне все кажется, что хороню молодость, что-то невозвратное, когда гляжу на этих женщин с глубокими вырезами платьев, с глазами, подведенными синим, и на их кавалеров, до того изящных, что, право, страшно иногда и грустно. В общем у меня тоска. Все думается, что кто-то должен умереть. Очень боюсь за папу. Он ведь совсем не молод. Здесь полно русскими, все наши знакомые: каждый день собираемся где-нибудь, — точно и не уезжала из Петербурга. Кстати, здесь мне рассказали о Николае, что он был

близок, будто бы, с одной женщиной. Она — вдова, у нее двое детей и третий маленький. Понимаешь? Мне было очень больно вначале. А потом почему-то стало ужасно жалко этого маленького... Он-то в чем виноват?.. Ах, Данюша, иногда мне хочется иметь ребенка. Но ведь это можно только от любимого человека. Выйдешь замуж — рожай, слышишь, девочка...»

Даша прочла письмо несколько раз, прослезилась, в особенности над этим, ни в чем не повинным, ребеночком и села писать ответ; прописала его до обеда; обедала одна, так, только пощипала что-то, — затем пошла в кабинет и начала рыться в старых журналах, отыскала длиннейший роман под заглавием «Она простила», легла на диван посреди разбросанных книг и читала до вечера. Наконец приехал отец, запыленный и усталый; сели ужинать, отец на все вопросы отвечал: «Угу»; Даша выведала, — оказывается, scarлатинный больной, мальчик трех лет у секретаря управы — умер. Дмитрий Степанович, сообщив это, засопел, спрятал пенсне в футляр и ушел спать. Даша легла в постель, закрылась с головой простыней и всласть наплакалась о разных грустных вещах.

Прошло два дня. Пыльная буря кончилась грозой и ливнем, барабанившим по крыше всю ночь, и утро воскресенья настало тихое и влажное — вымытое.

Утром, как Даше встать, зашел к ней старый знакомый, Семен Семенович Говядин, земский статистик — худой и сутулый, всегда бледный мужчина, с русой бородой и зачесанными за уши волосами. От него пахло сметаной; он отвергал вино, табак и мясо и был на счету у полиции. Здороваясь с Дашей, он сказал, безо всякой причины, насмешливым голосом:

— Я за вами, женщина. Едем за Волгу.

Даша подумала: «Итак, все кончилось статистиком Говядиным», — взяла белый зонтик и пошла за Семеном Семеновичем вниз, к Волге, к пристаням, где стояли лодки.

Между длинных, дощатых бараков с хлебом, бунтов леса и целых гор из тюков с шерстью и хлопком бродили грузчики и крючники, широкоплечие, широкогрудые мужики и парни, босые, без шапок, с голыми шеями. Иные играли в орлянку, иные спали на мешках и досках; вдалеке человек тридцать с ящиками на плечах сбегали по зыбким сходам. Между телег стоял пьяный человек, весь в грязи и пыли, с окровавленной щекой, и, придерживая обеими руками штаны, ругался лениво и матерно.

— Этот элемент не знает ни праздников, ни отдыха, — наставительно заметил Семен Семенович, — а вот мы с вами, умные и интеллигентные люди, едем праздно любоваться природой. Причина несправедливости лежит в самом социальном строе.

И он, проговорив: «Простите, пожалуйста», — перешагнул через огромные, босые ноги грудастого и губастого парня, лежащего навзничь; другой сидел на бревне и жевал французскую булку. Даша слышала, как лежащий сказал ей вслед:

— Филипп, вот бы нам такую.

И другой ответил лениво набитым ртом:

— Чиста очень. Возни много.

По гладкой, более версты шириной, желтоватой реке, в зыбких и длинных солнечных отсветах двигались темные силуэты лодочек, направляясь к дальнему песчаному берегу. Одну из таких лодок нанял Говядин; попросил Дашу править рулем, сам сел на весла и стал выгребать против течения. Скоро на бледном лице у него выступил пот.

— Спорт — великая вещь, — сказал Семен Семенович и принялся стаскивать с себя пиджак, стыдливо отстегнул помочи и сунул их под нос лодки. У него были худые, с длинными волосами, слабые руки, как червяки, и гуттаперчевые манжеты. Даша раскрыла зонт и, прищурясь, глядела на воду.

— Простите за нескромный вопрос, Дарья Дмитриевна, — в городе поговаривают, что вы выходите замуж. Правда это?

— Нет, не правда.

Тогда он широко ухмыльнулся, что было неожиданно для его интеллигентного, озабоченного лица, и жиденьким голоском попробовал было запеть: «Эх, да вниз по матушке, по Волге», — но застыдился и со всей силы ударил в весла.

Навстречу проплыла лодка, полная народом. Три мешанки в зеленых и пунцовых шерстяных платьях грызли семечки и плевали шелухой себе на колени. Напротив сидел совершенно пьяный горчишник, кудрявый, с черными усиками, закатывал, точно умирая, глаза и играл польку на гармонике. Другой шибко греб, раскачивая лодку, третий, взмахнув кормовым веслом, закричал Семену Семеновичу:

— Сворачивай с дороги, шляпа, тудыт твою в душу. — И они с криком и руганью проплыли совсем близко, едва не столкнулись.

Наконец лодка с шорохом скользнула по песчаному дну. Даша выпрыгнула на берег. Семен Семенович опять надел помочи и пиджак.

— Хотя я городской житель, но искренно люблю природу, — сказал он, прищурясь, — особенно когда ее дополняет фигура девушки, в этом я нахожу что-то тургеневское. Пойдемте к лесу.

И они побрели по горячему песку, увязая в нем по щиколотку. Говядин поминутно останавливался, вытирал платком лицо и говорил:

— Нет, вы взгляните, что за очаровательный уголок!

Наконец песок кончился, пришлось взобраться на небольшой обрыв, откуда начинались луга с кое-где уже скошенной травой, вянущей в рядах. Здесь горячо пахло медовыми цветами. По берегу узкого оврага, полного воды, рос кудрявый орешник. В низинке, в сочной траве, журчал ручей, переливаясь в другое озерцо — круглое. На берегу его росли две старые липы и корявая сосна с одной, отставленной, как рука, веткой. Дальше, по узкой гривке, цвел белый шиповник. Это было место, излюбленное вальдшнепами во время перелетов. Даша и Семен Семенович сели на траву. Под их ногами синела небом, зеленела отражением листвы вода по извилистым овражкам. Неподалеку от Даши в кусту прыгали, однообразно посвистывая, две серые птички. И со всей грустью покинутого любовника, где-то в чаще дерева, ворковал, ворковал, не устая, дикий голубь. Даша сидела, вытянув ноги, сложив руки на коленях, и слушала, как в ветвях покинутый любовник бормотал нежным голосом: «Дарья Дмитриевна, Дарья Дмитриевна, ах, что происходит с вами, — не понимаю, почему вам так грустно, хочется плакать. Ведь ничего еще не случилось, а вы грустите, будто жизнь уж кончена, прошла, пролетела. Вы просто от природы плакса».

— Мне хочется быть с вами откровенным, Дарья Дмитриевна, — проговорил Говядин, — позвольте мне, так сказать, отбросить в сторону условности?..

— Говорите, мне все равно, — ответила Даша и, закинув руки за голову, легла на спину, чтобы видеть небо, а не бегающие глазки Семена Семеновича, который исподтишка поглядывал на ее белые чулки.

— Вы гордая, смелая девушка. Вы молоды, красивы, полны кипучей жизни...

— Предположим, — сказала Даша.

— Неужто вам никогда не хотелось разрушить эту условную мораль, привитую воспитанием и средой? Неужто во имя этой, всеми авторитетами уже отвергнутой, морали вы должны сдерживать свои красивые инстинкты?

— Предположим, что я не хочу сдерживать своих инстинктов — тогда что? — спросила Даша и с ленивым любопытством ждала, что он ответит. Ее разогрело солнце, и было так хорошо глядеть в небо, в солнечную пыль, наполнившую всю эту синюю бездну, что не хотелось ни думать, ни шевелиться.

Семен Семенович молчал, ковыряя в земле пальцем. Даша знала, что он женат на акушерке Марье Давыдовне Позерн. Раза два в год Марья Давыдовна забирала троих детей и уходила от мужа к матери, живущей напротив, через улицу. Семен Семенович в земской управе объяснял сослуживцам эти семейные разрывы

чувственным и беспокойным характером Марьи Давыдовны. Она же в земской больнице объясняла их тем, что муж каждую минуту готов ей изменить с кем угодно, только об этом и думает и не изменяет по трусости и вялости, что уже совсем обидно, и она больше не в состоянии видеть его длинную, вегетарианскую физиономию. Во время этих размолвок Семен Семенович по нескольку раз в день, без шапки, переходил улицу. Затем супруги мирились, и Марья Давыдовна с детьми и подушками перебиралась в свой дом.

— Когда женщина остается вдвоем с мужчиной, у нее возникает единственное желание принадлежать, у него — овладеть ее телом, — покашляв, проговорил, наконец, Семен Семенович, — я вас зову быть честной, открытой. Загляните в глубь себя, и вы увидите, что среди предрассудков и лжи в вас горит естественное желание здоровой чувственности.

— А у меня сейчас никакого желания не горит, что это значит? — спросила Даша. Ей было смешно и лениво. Над головой в бледном цветке шиповника, в желтой пыльце, ворочалась пчела. А покинутый любовник продолжал бормотать в осиннике: «Дарья Дмитриевна, Дарья Дмитриевна, не влюблены ли вы, в самом деле. Влюблены, влюблены, честное слово, — оттого и горюете». Слушая, Даша тихонько начала смеяться.

— Кажется, у вас забрался песок в туфельки. Позвольте, я вытряхну, — проговорил Семен Семенович каким-то особенным, глуховатым голосом и потянул ее за каблук. Тогда Даша быстро села, вывала у него туфлю и шлепнула ею Семена Семеновича по щеке.

— Вы негодяй, — сказала она, — я никогда не думала, что вы такой омерзительный человек.

Она надела туфлю, встала, подобрала зонтик и, не взглянув на Говядина, пошла к реке.

«Вот дура, вот дура, не спросила даже адреса — куда писать, — думала она, спускаясь с обрыва, — не то в Кинешму, не то в Нижний. Вот теперь и сиди с Говядиным. Ах, боже мой!..» — Она обернулась. Семен Семенович шагал по спуску, по траве, подымая ноги, как журавль, и глядел в сторону. — «Напишу Кате: “Представь себе, кажется, я полюбила, так мне кажется”». И, прислушиваясь внимательно, Даша повторила вполголоса: «Милый, милый, милый Иван Ильич...»

В это время неподалеку раздался голос: «Не полезу и не полезу, пусти, юбку оборвешь». По колено в воде у берега бегал голый человек, пожилой, с короткой бородой, с желтыми ребрами, с черным гайтаном креста на впалой груди. Он был непристоен и злобно, молча тащил в воду унылую женщину. Она повторяла: «Пусти, юбку оборвешь».

Тогда Даша изо всей силы побежала вдоль берега к лодке, — стиснула горло от омерзения и стыда; казалось — пережить этого невозможно. Покуда она сталкивала лодку в воду, — подбежал запыхавшийся Говядин. Не отвечая ему, не глядя, Даша села на корму, прикрылась зонтом и молчала всю обратную дорогу.

После этой прогулки у Даши, каким-то особым, непонятным ей самой, путем, началась обида на Телегина, точно он был виноват во всем этом унынии пыльного, раскаленного солнцем, провинциального города, с вонючими заборами и гнусными подворотнями, с кирпичными, как ящики, домишками, с телефонными и телеграфными столбами вместо деревьев, с тяжелым зноем в полдень, когда по серовато-белой, без теней, улице бредет одуревшая баба со связками вяленой рыбы на коромысле и кричит, глядя на пыльные окошки: «Рыбы воблой, рыбы»; но остановится около нее и понюхает рыбу какой-нибудь тоже одуревший и наполовину сбесившийся пес; когда со двора издалека дунайской, сосущей скукой заиграет шарманка.

Телегин виноват был в том, что Даша воспринимала сейчас с особенной чувствительностью весь этот, окружавший ее, ленивый, утробный покой, не намеревающийся, видимо, во веки веков сдвинуться с места, хоть выбеги на улицу и закричи диким голосом: «Жить хочу, жить!»

Телегин был виноват в том, что чересчур уж был скромнен и застенчив: не ей же, Даше, в самом деле, говорить: «Понимаете, что люблю». Он был виноват в том, что не подавал о себе вестей, точно сквозь землю провалился, а может быть, даже и думать забыл о поездочке на пароходе.

И в прибавление ко всему этому унынию, в одну из знойных, как в печке, черных ночей Даша увидела сон, тот же, что и в Петербурге, когда проснулась в слезах, и так же, как и тогда, он исчез из памяти, точно дымка из запотевшего стекла. Но ей казалось, что этот мучительный и страшный сон предвещает какую-то беду. Дмитрий Степанович посоветовал Даше вспрыскивать мышьяк. Затем было получено второе письмо от Кати. Она писала: «Милая Данюша, я очень тоскую по тебе, по своим и по России. Мне все сильнее думается, что я виновата и в разрыве с Николаем, и в чем-то еще более важном. Я просыпаюсь и так весь день живу с этим чувством вины и какой-то душевной затхлости. И потом — я не помню, писала ли я тебе, — меня вот уж сколько времени преследует один человек. Выхожу из дома, — он идет навстречу. Поднимаюсь в лифте, в большом магазине, — он по пути впрыгивает в лифт. Вчера была в Лувре, в музее, устала и села на скамеечку, и вдруг чувствую, — точно мне провели рукой по спине, — оборачиваюсь — неподалеку сидит он. Худой,

черный, с сильной проседью, борода точно наклеенная на щеках. Руки положил на трость, глядит сурово, глаза ввалившиеся. Я дверь насилиу нашла. Он не заговаривает, не пристает ко мне, но я его боюсь. Мне кажется, что он какими-то кругами около меня ходит...»

Даша показала письмо отцу. Дмитрий Степанович на другое утро за газетой сказал, между прочим:

— Кошка, поезжай в Крым.

— Зачем?

— Разущи этого Николая Ивановича и скажи ему, что он разиня. Пускай отправляется в Париж, к жене. А впрочем, как хочет... Это их частное дело...

Дмитрий Степанович рассердился и взволновался, хотя терпеть не мог показывать своих чувств. Даша поняла, что ехать надо, и вдруг обрадовалась: Крым ей представился синим, шумящим волнами, чудесным простором. Длинная тень от пирамидного тополя, каменная скамья, развевающийся на голове шарф и чьи-то беспокойные глаза следят за Дашей.

Она быстро собралась и уехала в Евпаторию, где купался Николай Иванович.

ХII

В это лето в Крыму был необычайный наплыв приезжих с севера. По всему побережью бродили с облупленными носами колющие петербуржцы, с катарями и бронхитами, и шумные, растрепанные москвичи, с ленивой и поющей речью, и черноглазые киевляне, не знающие различия гласных «о» и «а», и презирующие эту российскую суету богатые сибиряки; жарились и обгорали дочерна молодые женщины и голенастые юноши, священники, чиновники, почтенные и семейные люди, живущие, как и все тогда жило в России, расхлябанно, точно с перебитой поясницей.

В середине лета от соленой воды, жары и загара у всех этих людей пропадало ощущение стыда, городские платья начинали казаться пошлостью, и на прибрежном песке появлялись женщины, кое-как прикрытые татарскими полотенцами, и мужчины, похожие на изображение на этрусских ваз.

В этой необычайной обстановке синих волн, горячего песка и голого тела, лезущего отовсюду, шатались семейные устои. Здесь все казалось легким и возможным. А какова будет расплата потом, на севере, в скучной квартире, когда за окнами дождь, а в прихожей трещит телефон и все кому-то что-то обязаны, — стоит ли думать о расплате. Морская вода с мягким шорохом подходит к берегу, касается ног, и вытянутому телу на песке, закину-

тым рукам и закрытым векам — легко, горячо и сладко. Все, все, даже самое опасное, — легко и сладко.

Нынешним летом легкомыслие и шаткость среди приезжих превзошли всякие размеры, словно у этих сотен тысяч городских обывателей каким-то гигантским протуберанцем, вылетевшим в одно июньское утро из раскаленного солнца, отшибло память и благоразумие.

По всему побережью не было ни одной благополучной дачи. Неожиданно разрывались прочные связи. И, казалось, самый воздух был полон любовного шепота, нежного смеха и неопикуемой чепухи, которая говорилась на этой горячей земле, усеянной обломками древних городов и костями вымерших народов. Было похоже, что к осенним дождям готовится какая-то всеобщая расплата и горькие слезы.

Даша подъезжала к Евпатории после полудня. Незадолго до города, с дороги, пыльной белой лентой бегущей по ровной степи, мимо солончаков, ометов соломы и кое-где, вдали, длинных строений, она увидела против солнца большой деревянный корабль. Он медленно двигался в полуверсте, по степи, среди поляны, сверху донизу покрытый черными, поставленными боком, парусами. Это было до того удивительно, что Даша ахнула. Сидевший рядом с ней в автомобиле старый армянин сказал, засмеявшись: «Сейчас море увидишь».

Автомобиль повернул мимо квадратных запруд солеварен на песчаную возвышенность, и с нее открылось море. Оно лежало выше земли, темно-синее, покрытое белыми длинными жгутами пены. Веселый ветер засвистел в ушах. Даша стиснула на коленях кожаный чемоданчик и подумала: «Вот оно. Начинается».

В это же время Николай Иванович Смоковников сидел в павильоне, вынесенном на столбах в море, и пил кофе с любовником-резонером. Подходили после обеденного отдыха дачники, садились за столики, перекликались, говорили о пользе йодистого лечения, о морском купанье и женщинах. В павильоне было прохладно. Ветром трепало края белых скатертей и женские шарфы. Мимо прошла однопарусная яхта, и оттуда крикнули: «Передайте Леле, что мы ждем!» Толпою появились и заняли большой стол москвичи, все мировые знаменитости. Любовник-резонер поморщился при виде них и продолжал рассказывать содержание драмы, которую задумал написать.

— Если бы не этот проклятый коньячище, я бы давно кончил первый акт, — говорил он, вдумчиво и благородно глядя в лицо Николаю Ивановичу, — у тебя светлая голова, Коля, ты поймешь мою идею: красивая, молодая женщина тоскует, томится, кругом

нее пошлость. Хорошие люди, но жизнь засосала, — гнилые чувства и пьянство... Словом, ты понимаешь... И вдруг она говорит: «Я должна уйти, порвать с этой жизнью, уйти туда, куда-то, к светлomu»... А тут — муж и друг... Оба страдают... Коля, ты пойми, — жизнь засосала... Она уходит, я не говорю к кому, — любовника нет, все на настроении... И вот двое мужчин сидят в кабаке, молча, и пьют... Глотают слезы вместе с коньяком... А ветер в каминной трубе завывает, хоронит их... Грустно... Пусто... Темно...

— Ты хочешь знать мое мнение? — спросил Николай Иванович.

— Да. Ты только скажи: «Миша, брось писать, брось», и я брошу.

— Пьеса твоя замечательная. Это — сама жизнь. — Николай Иванович, закрыл глаза, помотал головой. — Да, Миша, мы не умели ценить своего счастья, и оно ушло, и вот мы — без надежды, без воли — сидим и пьем. И воет ветер над нашим кладбищем... Твоя пьеса меня чрезвычайно волнует...

У любовника-резонера задрожали большие мешки под глазами, он потянулся и крепко поцеловал Николая Ивановича, стиснул ему руку, затем налил по рюмочке. Они чокнулись, положили локти на стол и продолжали душевную беседу.

— Коля, — говорил любовник-резонер, тяжело глядя на собеседника, — а знаешь ли ты, что я любил твою жену, как Бога?

— Да. Мне это казалось.

— Я мучился, Коля, но ты был мне другом... Сколько раз я бежал из твоего дома, клянясь не переступить больше порога... Но я приходил опять и разыгрывал шута... И ты, Николай, не смеешь ее винить, — он вытянул губы и сложил их свирепо...

— Миша, она жестоко поступила со мною.

— Может быть... Но мы все перед ней виноваты... Ах, Коля, одного я в тебе не могу понять, — как ты, живя с такой женщиной, — ведь с ней нужно на коленях разговаривать, — а ты, прости меня, путался, вместо этого, с какой-то вдовой Чимириазевой. Зачем?

— Это сложный вопрос.

— Лжешь. Я ее видел, обыкновенная курица.

— Видишь ли, Миша, теперь дело прошлое, конечно... Софья Ивановна Чимириазева была просто добрым человеком. Она давала мне минуты радости и никогда ничего не требовала. А дома все было слишком сложно, трудно, углубленно... На Екатерину Дмитриевну у меня не хватало душевных сил...

— Коля, но неужели — вот мы вернемся в Петербург, вот настанет вторник, и я не приду к вам после спектакля... Как мне жить?.. Слушай... Где жена сейчас?

— В Париже.

— Переписываешься?

- Нет.
- Поезжай в Париж. Поедем вместе.
- Бесплезно...
- Коля, выпьем за ее здоровье.
- Выпьем.

В павильоне, между столиками, появилась актриса Чародеева, в зеленом прозрачном платье, в большой шляпе, худая, как змея, с синей тенью под глазами. Ее, должно быть, плохо держала спина, — так она извивалась и клонилась. Ей навстречу поднялся редактор эстетического журнала «Хор муз», взял за руку и не спеша поцеловал в сгиб локтя.

— Изумительная женщина, — проговорил Николай Иванович сквозь зубы.

— Нет, Коля, нет. Чародеева — просто падаль. В чем дело?.. Жила три месяца с Бессоновым, на концертах мяукает декадентские стихи... Смотри, смотри — рот до ушей, на шее жилы. Помелом ее со сцены, я давно об этом кричу..

Все же, когда Чародеева, кивая шляпой направо и налево, улыбаясь большим ртом с розовыми зубами, приблизилась к столику, любовник-резонер, словно пораженный, медленно поднялся, всплеснул руками, сложил их под подбородком и проговорил:

— Милая... Ниночка... Какой туалет!.. Не хочу, не хочу.. Мне прописан глубокий покой, родная моя...

Чародеева взяла его костлявой рукой за подбородок, поджала губы, сморщила нос:

- А что болтал вчера про меня в ресторане?
- Я тебя ругал вчера в ресторане? Ниночка!
- Да еще как.
- Честное слово, меня оклеветали.

Чародеева со смехом положила ладонь ему на губы:

— Ведь знаешь, что не могу на тебя долго сердиться. — И уже другим голосом, из какой-то воображаемой, светской пьесы, обратилась к Николаю Ивановичу: — Сейчас проходила мимо вашей комнаты; к вам приехала, кажется, родственница, — прелестная девушка.

Николай Иванович быстро взглянул на друга, затем взял с блюдечка окурочку сигары и так принялся его раскуривать, что задымилась вся борода.

— Это неожиданно, — сказал он. — Что бы это могло означать?.. Бегу. — Он бросил сигару в море и стал спускаться по лестнице на берег, вертя серебряной тростью, сдвинув шляпу на затылок. В гостиницу Николай Иванович вошел уже запыхавшись...

— Даша, ты зачем? Что случилось? — спросил он, притворяясь за собой дверь.

Даша сидела на полу около раскрытого чемодана и зашивала чулок. Когда вошел зять, она не спеша поднялась, подставила ему щеку для поцелуя и сказала рассеянно:

— Очень рада тебя видеть. Мы с папой решили, чтобы ты ехал в Париж. Я привезла два письма от Кати... Вот. Прочти, пожалуйста.

Николай Иванович схватил у нее письма и сел к окну. Даша ушла в умывальную комнату и оттуда, одеваясь, слушала, как зять шуршит листочками, вздыхает. Затем он затих. Даша насто-рожилась.

— Ты завтракала? — вдруг спросил он. — Если голодна — пойдем в павильон. Тогда она подумала: «Разлюбил ее совсем», — обеими руками надвинула на голову шапочку и решила разговор о Париже отложить на завтра.

По дороге к павильону Николай Иванович молчал и глядел под ноги, но когда Даша спросила: «Ты купаешься?» — он весело поднял голову и заговорил о том, что здесь у них образовалось общество борьбы с купальными костюмами, главным образом преследующее гигиенические цели.

— Представь, за месяц купанья на этом пляже организм поглощает йода больше, нежели за это время можно искусственно ввести его вовнутрь. Кроме того, ты поглощаешь солнечные лучи и теплоту от нагретого песка. У нас, мужчин, еще терпимо, только небольшой пояс, но женщины закрывают почти две трети тела. Мы с этим решительно начали бороться... В воскресенье я читаю лекцию по этому вопросу, затем мы устраиваем концерт.

Они шли вдоль воды по светло-желтому, мягкому, как бархат, песку из плоских, обтертых прибоями, раковин. Неподдалеку, там, где на отмель набегали и разбивались кипящей пеной небольшие волны, покачивались, как поплавки, две девушки в красных чепчиках.

— Наши адептки, — сказал Николай Иванович деловито. У Даши все сильнее росло чувство не то возбуждения, не то беспокойства. Это началось с той минуты, когда она увидела в степи черный корабль.

Даша остановилась, глядя, как вода тонкой пеленой взлизывает на песок и отходит, оставляя ручейки, и это прикосновение воды к земле было такое радостное и вечное, что Даша присела и опустила туда руки. Маленький, плоский краб шарахнулся боком, пустив облачко песка, и исчез в глубине. Волной Даше замочило руки выше локтя.

— Какая-то с тобой перемена, — проговорил Николай Иванович, прищурясь, — не то ты еще похорошела, не то похудела, не то замуж тебе пора.

Даша обернулась, взглянула на него странно, точно раскосо; поднялась и, не обтирая рук, пошла к павильону, откуда любовник-резонер махал соломенной шляпой.

Дашу кормили чебуреками и простоквашей, поили шампанским; любовник-резонер суетился, время от времени впадал в столбняк, шепча словно про себя: «Боже мой, как хороша!» — и подводил знакомить каких-то юношей — учеников драматической студии, говоривших придушенными голосами, точно на исповеди. Николай Иванович был польщен и взволнован таким успехом «своей Дашурки».

Даша пила вино, смеялась, ела, что ей подставляли, протягивала кому-то для поцелуев руку и, не отрываясь, глядела на сияющее голубым светом, взволнованное море. «Это счастье», — думала она, и ей хотелось плакать.

После купанья и прогулки пошли ужинать в гостиницу. Было шумно, светло и нарядно. Любовник-резонер много и горячо говорил о любви. Николай Иванович, глядя на Дашу, подвыпил и загрустил. А Даша все время сквозь щель в занавеси окна видела, как невдалеке появляются, исчезают и скользят какие-то жидкие блики. Наконец она поднялась и вышла на берег. Ясная и круглая луна, совсем близкая, как в сказках Шехерезады, висела в голубовато-серебряной бездне над чешуйчатой дорогой через все море. Даша крепко засунула пальцы между пальцев и хрустнула ими.

Когда послышался голос Николая Ивановича, она поспешно пошла дальше вдоль воды, сонно лижущей берег. На песке сидела женская фигура и другая, мужская, лежала головой у нее на коленях. Между зыбкими бликами в черно-лиловой воде плавала человеческая голова, и на Дашу взглянули и долго следили за ней два глаза с лунными отблесками. Потом стояли двое, прижавшись; миновав их, Даша услышала вздох и поцелуй.

Издали звали: «Даша, Даша!» Тогда она села на песок, положила локти на колени и подперла подбородок. Если бы сейчас подошел Телегин, опустился бы рядом, обнял рукой за спину и голосом суровым и тихим спросил: «Моя?» Ответила бы: «Твоя».

За бугорком песка пошевелилась серая, лежащая ничком, фигура, села, уронив голову, долго глядела на играющую, точно на забаву детям, лунную дорогу, поднялась и побрела мимо Даши, уныло, как мертвая. И с отчаянно бьющимся сердцем Даша увидела, что это — Бессонов.

Так начались для Даши эти последние дни старого мира. Их осталось немного, насыщенных зноем догорающего лета, радостных и беспечных. Но люди, привыкшие думать, что будущий день так же ясен, как вдалеке синеватые очертания гор,

даже умные и прозорливые люди не могли ни видеть, ни знать ничего, лежащего вне мгновения их жизни. За мгновением, многоцветным, насыщенным запахами, наполненным биением всех соков жизни, лежал мертвый и непостижимый мрак... Туда ни на волосок не проникали ни взгляд, ни ощущение, ни мысль, и только, быть может, неясным чувством, какое бывает у зверей перед грозой, воспринимали иные то, что надвигалось. Это чувство было как необъяснимое беспокойство. Люди торопились жить. А в это время на землю опускалось невидимое облако, бешено крутящееся какими-то торжествующими и яростными и какими-то падающими и изнемогающими очертаниями. И это было отмечено лишь полосой солнечной тени, зачеркнувшей с юго-востока на северо-запад всю старую, милую и грешную жизнь на земле.

XIII

Бессонов переживал сводящую скулы оскомину, когда целыми днями валялся у моря. Разглядывая лица: женские — смеющиеся, покрытые солнечной пылью загара, и мужские — медно-красные и взволнованные, он с унынием чувствовал, что сердце его, как лед, лежит в груди. Глядя на море — думал, что вот оно тысячи лет шумит волнами о берег. И берег был когда-то пуст и вот он населен людьми, и они умрут, и берег опять опустеет, а море будет все так же набегать на песок. Думая, он морщился, сгребал пальцем раковинки в кучечку и засовывал в нее потухшую папиросу. Затем шел купаться. Затем лениво обедал. Затем уходил спать.

Вчера, неподалеку от него, быстро села в песок какая-то девушка и долго глядела на лунный свет; от нее слабо пахло фиалками. В оцепеневшем мозгу прошло воспоминание. Бессонов заворочался, подумал: «Ну, нет, на этот крючок не зацепишь, не заманишь, к черту, спать», — поднялся и побрел в гостиницу.

Даша после этой встречи струсила. Ей казалось, что петербургская жизнь — все эти воробьиные ночи отошли навсегда, и Бессонов, непонятно чем занозивший ее воображение, — забыт.

Но от одного взгляда, от этой минутки, когда он черным силуэтом прошел перед светом месяца, в ней все поднялось с новой силой, и не в виде смутных и неясных переживаний, а теперь было точное желание, горячее, как полуденный жар: она жаждала почувствовать этого человека. Ни любить, ни мучиться, ни раздумывать — а только ощутить.

Сидя в залитой лунным светом белой комнате, у окна, она повторяла слабым голосом:

— Ах, боже мой, ах, боже мой, что же это такое?..

В седьмом часу утра Даша пошла на берег, разделась, вошла по колено в воду и загляделась. Море было выцветшее, бледно-голубое и только кое-где вдалеке тронутое матовой рябью. Вода не спеша всходила то выше колен, то опускалась ниже. Даша протянула руки, упала в эту небесную прохладу и поплыла. Потом, освеженная и вся соленая, закуталась в мохнатый халат и легла на песок, уже тепловатый.

«Люблю одного Ивана Ильича, — думала она, лежа щекой на локте, розовом и пахнущем свежестью, — люблю, люблю Ивана Ильича. С ним чисто, свежо, радостно. Слава богу, что люблю Ивана Ильича. Выйду за него замуж...»

Она закрыла глаза и заснула, чувствуя, как рядом, набегая, будто дышит вода в лад с ее дыханием.

Этот сон был сладок. Она, не переставая, чувствовала, как ее телу тепло и легко лежать на песке. И во сне она ужасно любила себя какой-то особой, взволнованной влюбленностью.

На закате, когда солнце сплюсненным шаром опускалось в оранжевое, безоблачное зарево, Даша встретила Бессонова, сидевшего на камне у тропинки, выющейся через плоское поlynное поле. Даша забрела сюда, гуляя, и сейчас, увидев Бессонова, остановилась, хотела повернуть, побежать, но давешняя легкость опять исчезла, и ноги, отяжелев, точно приросли, и она исподлобья глядела, как он подходил, почти не удивленный встречей, как снял соломенную шляпу и поклонился по-монашески — смиренным наклоном:

— Вчера я не ошибся, Дарья Дмитриевна, — это вы были на берегу?

— Да, я...

Он помолчал, опустив глаза, потом взглянул мимо Даши в глубину уже потемневшей степи:

— На этом поле, во время заката, чувствуешь себя, как в пустыне. Сюда редко кто забредет. Кругом — поlynнь, камни, и в сумерки представляется, что на земле никого уже не осталось, — я один.

Бессонов засмеялся, медленно открыв белые зубы. Даша глядела на него, как дикая птица. Потом она пошла рядом с ним по тропинке. С боков и по всему полю росли невысокие, горько пахнущие кустики поlynни; от каждого ложилась на сухую землю еще не яркая лунная тень. Над головами, вверх и вниз, неровно и трепеща, летали две мыши, ясно видимые в полосе заката.

— Соблазны, соблазны, никуда от них не скроешься, — проговорил Бессонов, — прельщают, заманивают, и снова попадаешься в обман. Смотрите — до чего лукаво подстроено, — он показал палкой на невысоко висящий шар луны, — всю ночь будет ткать сети, тропинка прикинется ручьем, каждый кустик — населенным, даже

труп покажется красив, и женское лицо — таинственно. А, может быть, действительно, так и нужно: вся мудрость в этом обмане... Какая вы счастливая, Дарья Дмитриевна, какая вы счастливая...

— Почему же это обман? По-моему, совсем не обман. Просто — светит луна, — сказала Даша упрямо.

— Ну, конечно, Дарья Дмитриевна, конечно... «Будьте, как дети». Обман в том, что я не верю ничему этому. Но — «будьте так же, как змеи». А как это соединить? Что нужно для этого... Говорят, соединяет любовь? А вы как думаете?

— Не знаю. Ничего не думаю.

— Из каких она приходит пространств? Как ее заманить? Каким словом заклясть? Лечь в пыль и взывать: о, Господи, пошли на меня любовь!.. — Он негромко засмеялся, показал зубы.

— Я дальше не пойду, — сказала Даша, — я хочу к морю.

Они повернули и шли теперь по поляни к песчаной возвышенности. Неожиданно Бессонов сказал мягким и осторожным голосом:

— Я до последнего слова помню все, что вы говорили тогда у меня, в Петербурге. Я вас спугнул.

Даша молчала, глядя пред собой, и шла очень быстро.

— Но почему-то мне всегда казалось, Дарья Дмитриевна, что мы продолжим нашу беседу. Я помню — тогда меня потрясло одно ощущение... Не ваша особенная красота, нет... Меня поразила, пронизала всего непередаваемая музыка вашего голоса. Когда-то — очень давно — я слушал в оркестре симфонию — забыл какую. И вот, из всех звуков родился один звук, — пела труба, печальная и чистая; казалось, — ее было слышно во всех концах земли, — таков будет голос архангела в последний час.

— Бог знает, что вы говорите! — воскликнула Даша, остановившись; взглянула на него и опять пошла.

— Более страшного искушения не было в моей жизни. Я глядел тогда на вас и думал — «это место свято». Здесь мое спасение: отдать сердце вам, стать нищим, смиренным, растаять в вашем свете... А может быть, взять ваше сердце? Стать бесконечно богатым?... Подумайте, Дарья Дмитриевна, вот вы пришли, и я должен отгадать загадку.

Даша, опередив его, взбежала на песчаную дюну. Широкая лунная дорога, переливаясь, как чешуя, в тяжелой громаде воды, обрывалась на краю моря длинной и ясной полосой, и там над этим светом стояло темное сияние. У Даши так билось сердце, что пришлось закрыть глаза. «Господи, спаси меня от него», — подумала она. Бессонов несколько раз вонзил палку в песок:

— Только уже нужно решаться, Дарья Дмитриевна... Кто-то должен сгореть на этом огне... Вы ли... Я ли... Подумайте, ответьте...

— Не понимаю, — отрывисто сказала Даша.

— Когда вы станете нищей, опустошенной, сожженной, — тогда только настанет для вас настоящая жизнь, Дарья Дмитриевна... без этого лунного света, — соблазна на три копейки. Будет страшная жизнь — мудрость. И чувство непомерного величия — гордость. И всего только и нужно для этого — сбросить платящие девочки...

Бессонов ледяной рукой взял Дашину руку и заглянул ей в глаза. Даша только и могла, что — медленно зажмурилась. Спустя долгое молчание он сказал:

— Впрочем, пойдемте лучше по домам — спать. Поговорили, обсудили вопрос со всех сторон, — да и час поздний...

Он довел Дашу до гостиницы, простился учтиво, сдвинул шляпу на затылок и пошел вдоль воды, вглядываясь в неясные фигуры гуляющих. Внезапно остановился, повернул и подошел к высокой женщине, стоящей неподвижно, закутавшись в белую шелковую шаль. Бессонов перекинул трость через плечи, взялся за ее концы и сказал:

— Нина, здравствуй.

— Здравствуй.

— Ты что делаешь одна на берегу?

— Стою.

— Почему ты одна?

— Одна, потому что — одна, — ответила Чародеева тихо и сердито.

— Неужели все еще сердиться?

— Нет, голубчик, давно успокоилась. Ты-то вот не волнуйся на мой счет.

— Нина, пойдем ко мне.

Тогда она, откинув голову, молчала долго, потом дрогнувшим, неясным голосом ответила:

— С ума ты сошел?

— А ты разве этого не знала?

Он взял ее под руку, но она резко выдернула ее и пошла медленно, рядом с ним, вдоль лунных отсветов, скользящих по масляно-черной воде вслед их шагам.

Наутро Дашу разбудил Николай Иванович, осторожно постучав в дверь:

— Данюша, вставай, голубчик, идем кофе пить.

Даша спустила с кровати ноги и посмотрела на сброшенные вчера чулки и туфельки, — все в серой пыли. Что-то случилось. Или опять приснился тот омерзительный сон? Нет, нет, было гораздо хуже, не сон. Даша кое-как оделась и побежала купаться.

Но вода утомила ее, и солнце разожгло. Сидя под мохнатым халатом, обхватив голые колени, она думала, что здесь ничего хорошего случиться не может.

«И не умна, и трусиха, и бездельница. Воображение преувеличенное. Сама не знаю, чего хочу. Утром одно, вечером другое. Как раз тот тип, какой ненавижу».

Склонив голову. Даша глядела на море, и даже слезы навернулись у нее, — так было смутно и грустно.

«Подумаешь — великое сокровище берегу. Кому оно нужно — ни одному человеку на свете. Никого по-настоящему не люблю, себя ненавижу. И выходит — он прав: лучше уж сжечь все, сгореть и стать трезвым человеком. Он позвал, и пойти к нему нынче же вечером, и... Ох, нет!..»

Даша опустила лицо в колени, — так стало жарко. И было ясно, что дальше жить этой двойной жизнью нельзя. Должно прийти, наконец, освобождение от невыносимого дольше девичества. Или уж — пусть будет беда.

Так, сидя в унынии, она раздумывала: «Предположим — уеду отсюда. К отцу. В пыль. К мухам. Дождусь осени. Начнутся занятия. Стану работать по двенадцати часов в сутки. Высохну, стану уродом. Наизусть выучу международное право. Буду носить бумажные юбки: уважаемая юрист-девица Булавина. Конечно, выход очень почтенный... Ах, боже мой. Боже мой!..»

Даша стряхнула прилипший к коже песок и пошла в дом. Николай Иванович лежал на террасе, в шелковой пижаме, и читал запрещенный роман Анатоля Франса. Даша села к нему на ручку качалки и, покачивая туфелькой, сказала раздумчиво:

— Вот, мы с тобой хотели поговорить насчет Кати.

— Да, да.

— Видишь ли, Николай, женская жизнь, вообще, очень трудная. Тут в девятнадцать-то лет не знаешь, что с собой делать.

— В твои годы, Данюша, надо жить всюю, не раздумывая. Много будешь думать — останешься на бобах. Смотрю на тебя — ужасно ты хороша.

— Так и знала, Николай, — с тобой бесполезно разговаривать. Всегда скажешь не то, что нужно, и бестактно. От этого-то и Катя от тебя ушла.

Николай Иванович засмеялся, положил роман Анатоля Франса на живот и закинул за голову толстые руки:

— Начнутся дожди, и птичка сама прилетит в дом. А помнишь, как она перышки чистила?.. Я Катюшу, несмотря ни на что, очень люблю. Ну, что же — оба нагрелись, и квиты.

— Ах, ты вот как теперь разговариваешь! А вот я на месте Кати точно так же бы поступила с тобой...

— Ого! Это что-то новое у тебя?..

— Да, новое... Действительно, — уже с ненавистью глядя на него, проговорила Даша, — любишь, мучаешься, места себе не находишь, а он очень доволен и уверен...

И она отошла к перилам балкона, рассерженная не то на Николая Ивановича, не то еще на кого-то.

— Станешь постарше и увидишь, что слишком серьезно относиться к житейским невзгодам — вредно и не умно, — проговорил Николай Иванович, — это ваша закваска, булавинская — все усложнять... Проще, проще надо, — ближе к природе...

Он вздохнул и замолчал, рассматривая ногти. Мимо террасы проехал потный гимназист на велосипеде, — привез из города почту.

— Пойду в сельские учительницы, — проговорила Даша мрачно.

Николай Иванович переспросил сейчас же:

— Куда?

Но она не ответила и ушла к себе. С почты принесли письма для Даши: одно было от Кати, другое от отца. Дмитрий Степанович писал: «...Посылаю тебе письмо от Катюшки. Я его читал и мне оно не понравилось. Хотя — делайте, как хотите... У нас все по-старому. Очень жарко. Кроме того, Семена Семеновича Говядина вчера в городском саду избили горчишники, но за что — он скрывает. Вот и все новости. Да, была тебе еще открытка от какого-то Телегина, но я ее потерял. Кажется, он тоже в Крыму, не то еще где-то...»

Даша внимательно перечла эти последние строчки, и неожиданно быстро забилось сердце. Потом, с досады, она даже топнула ногой; — извольте радоваться: «Не то в Крыму, не то еще где-то»... Отец, действительно, кошмарный человек, неряха и эгоист. Она скомкала его письмо и долго сидела у письменного столика, подперев подбородок. Потом стала читать то, что было от Кати: «Помнишь, Данюша, я писала тебе о человеке, который за мной ходит. Вчера вечером в Люксембургском саду он подсел ко мне. Я вначале струсил, но осталась сидеть. Тогда он мне сказал: “Я вас преследовал, я знаю ваше имя, и кто вы такая. Но затем со мной случилось большое несчастье, — я вас полюбил”. Я посмотрела на него, — сидит, как в церкви, важно, лицо строгое, темное какое-то, обтянутое. “Вы не должны бояться меня, — я старик, одинокий. У меня грудная жаба, каждую минуту я могу умереть. И вот — такое несчастье”. У него по щеке потекла слеза. Потом он проговорил, покачивая головой: “О, какое милое, какое милое ваше лицо”. Я сказала: “Не преследуйте меня больше”. И хотела уйти, но мне стало его жалко, я осталась и говорила с ним. Он слушал и, закрыв глаза, покачивал головой. И, представь себе, Данюша, — сегодня получаю от какой-то

женщины, кажется, от консьержки, где он жил, письмо... Она, "по его поручению", сообщает, что он умер ночью... Ох, как это было страшно... Вот и сейчас — подошла к окну, на улице тысячи, тысячи огней, катятся экипажи, люди идут между деревьями. После дождя — туманно. И мне кажется, что все это уже бывшее, все умерло, эти люди — мертвые, будто я вижу то, что кончилось, а того, что происходит сейчас, когда стою и гляжу, — не вижу, но знаю, что все кончилось. Вот — прошел человек, обернулся, посмотрел на мое окно, и мне ясно, что он обернулся и посмотрел не сейчас, а давно, когда-то... Должно быть, мне совсем плохо. Иногда — лягу и плачу, — жалко жизни, зачем прошла. Было какое ни на есть, но все-таки счастье, любимые люди, — и следа не осталось... И сердце во мне стало сухонькое — высохло. Я знаю, Даша, предстоит еще какое-то большое горе, и все это в расплату за то, что мы все жили дурно. Данюша, Данюша, дай Бог тебе счастья...»

Даша показала это письмо Николаю Ивановичу. Читая, он принялся вздыхать, потом заговорил о том, что он всегда чувствовал вину свою перед Катей:

— Я видел, — мы живем дурно, эти непрерывные удовольствия кончатся, когда-нибудь, взрывом отчаяния. Но что я мог поделать, если занятие моей жизни, и Катиной, и всех, кто нас окружал, — веселиться... Иногда, здесь, гляжу на море и думаю: существует какая-то Россия, пашет землю, пасет скот, долбит уголь, ткет, кует, строит, существуют люди, которые заставляют ее все это делать, а мы какие-то третьи, умственная аристократия страны, интеллигенты — мы ни с какой стороны этой России не касаемся. Она нас содержит. Мы — папильоны. Это трагедия. Попробуй я, например, разводить овощи, или построй завод, — ничего не выйдет. Я обречен до конца дней летать папильоном. Конечно, мы пишем книги, произносим речи, делаем политику, но это все тоже входит в круг времяпрепровождения, даже тогда, когда гложет совесть. У Катюши эти непрерывные удовольствия кончились душевным опустошением. Иначе и не могло быть... Ах, если бы ты знала, — какая это была прелестная, нежная и кроткая женщина!.. Я развратил ее, опустошил... Да, ты права, нужно к ней ехать...

Ехать в Париж решено было обоим, и немедленно, как только получить заграничные паспорта. После обеда Николай Иванович ушел в город, а Даша принялась переделывать в дорогу большую соломенную шляпу, но только разорила ее, пришла в отчаяние и подарила горничной. Потом написала письмо отцу и в сумерки прилегла на постель, — такая, внезапно, напала усталость, — положила ладони под щеку и слушала, как шумит море, все отдаленнее, все приятнее.

Потом показалось, что кто-то наклонился над ней, отвел с лица прядь волос и поцеловал в глаза, в щеки, в уголки губ, легко — одним дыханием. По всему телу разлилась сладость этого поцелуя. Даша медленно пробудилась. В открытое окно виднелись редкие звезды, и ветерок, залетев, шелестел листками письма. Затем из-за стены появилась человеческая фигура, облокотилась снаружи на подоконник и глядела на Дашу.

Тогда Даша проснулась совсем, села и поднесла руку к груди, где было расстегнуто платье.

— Что вам нужно? — спросила она едва слышно. Человек в окне голосом Бессонова проговорил:

— Я вас ждал на берегу. Почему вы не пришли? Бойтесь?

Даша ответила, помолчав:

— Да.

Тогда он перелез через подоконник, отодвинул стол и подошел к кровати:

— Я провел омерзительную ночь, — еще бы немного и удавился. У вас есть хоть какое-нибудь чувство ко мне?

Даша покачала головой, но губ не раскрыла.

— Слушайте, Дарья Дмитриевна, не сегодня, завтра, через год, — это должно случиться. Я не могу без вас существовать. Не заставляйте меня терять образ человеческий. — Он говорил тихо и хрипло, и подошел к Даше совсем близко. Она вдруг глубоко, коротко вздохнула и продолжала глядеть ему в лицо. — Все, что я вчера говорил, — вранье... Я жестоко страдаю... У меня нет силы вытравить память о вас... Будьте моей женой...

Он наклонился к Даше, вдыхая ее запах, положил руку сзади ей на шею и прильнул к губам. Даша уперлась в грудь ему, но руки ее согнулись. Тогда в оцепеневшем сознании прошла спокойная мысль: «Это то, чего я боялась и хотела, но это похоже на убийство...» Отвернув лицо, она слушала, как Бессонов, дыша вином, бормотал ей что-то в ухо. И Даша подумала: «Точно так же было у него с Катей». И тогда уже ясный, рассудительный холодок поджал все тело, и резче стал запах вина и омерзительнее бормотанье.

— Пустите-ка, — проговорила она, с силой отстранила Бессонова и, отойдя к двери, застегнула, наконец, ворот на платье.

Тогда Бессоновым овладело бешенство: схватив Дашу за руки, он притянул ее к себе и стал целовать в горло. Она, сжав губы, молча боролась. Когда же он поднял ее и понес, — Даша проговорила быстрым шепотом:

— Никогда в жизни, хоть умрите...

Она с силой оттолкнула его, освободилась и стала у стены. Все еще трудно дыша, он опустился на стул и сидел неподвижно. Даша поглаживала руки в тех местах, где были следы пальцев.

— Не нужно было спешить, — сказал Бессонов.

Она ответила:

— Вы мне омерзительны.

Он сейчас же положил голову боком на спинку стула. Даша сказала:

— Вы с ума сошли... Уходите же...

И повторила это несколько раз. Он, наконец, понял, поднялся и тяжело, неловко вылез через окно. Даша затворила ставни и принялась ходить по темной комнате. Эта ночь была проведена плохо.

Под утро Николай Иванович, шлепая, босиком, подошел к двери и спросил заспанным голосом:

— У тебя зубы, что ли, болят, Даша?

— Нет.

— А что это за шум был ночью?

— Не знаю.

Он, пробормотав: «Удивительное дело», ушел. Даша не могла ни присесть, ни лечь, — только ходила, ходила от окна до двери, чтобы утомить в себе это острое, как зубная боль, омерзение к себе. Случилось самое отвратительное, чего никогда нельзя было даже предугадать, — словно ночью на погосте собаки рвали падаль... И это делала она, Даша. Если бы Бессонов совладал с ней, — кажется, было бы лучше. И с отчаянной болью она вспоминала белый, залитый солнцем пароход, и еще то, как в осиннике ворковал, бормотал, все лгал, все лгал покинутый любовник, уверял, что Даша влюблена.

Так вот это все чем кончилось? Оглядываясь на белевшую в сумраке постель, страшное место, где только что лицо человеческое превращалось в песью морду, Даша чувствовала, что жить с этим знанием нельзя. Какую бы угодно взяла муку на себя, — только бы не чувствовать этой брезгливости ко всему живому, к людям, к земле, к себе... Закрывая лицо ладонями, Даша повторяла: «Отче Наш, иже еси на небесах, спаси меня...» Но слова не могли дойти до Него... Горела голова и хотелось точно содрать с лица, с шеи, со всего тела паутину.

Наконец свет сквозь ставни стал совсем яркий. В доме начали хлопотать дверьми, чей-то звонкий голос позвал: «Матреша, принеси воды...» Проснулся Николай Иванович и за стеной чистил зубы. Даша ополоснула лицо и, надвинув на глаза шапочку, вышла на берег. Море было, как молоко, песок — сыроватый. Пахло водорослями. Даша повернула в поле и побрела вдоль дороги. Навстречу, поднимая пыльцу колесами, двигалась плетушка об одну лошадь. На козлах сидел татарин, позади него — какой-то широкий человек, весь в белом. Взглянув, Даша подумала, как

сквозь сон (от солнца, от усталости слипались глаза): «Вот едет хороший, счастливый человек, ну и пускай его — и хороший и счастливый», — и она отошла с дороги. Вдруг из плетушки послышался испуганный голос:

— Дарья Дмитриевна!

Кто-то спрыгнул на землю и побежал. От этого голоса у Дашы закатилось сердце, упало куда-то вглубь, ослабли ноги. Она обернулась. К ней подбегал Телегин, загорелый, взволнованный, синеглазый, до того неожиданно-родной, что Даша стремительно положила руки ему на грудь, прижалась лицом и громко, по-детски, заплакала.

Телегин твердо держал ее за плечи. Когда Даша срывающимся голосом попыталась что-то объяснить, он сказал:

— Пожалуйста, Дарья Дмитриевна, пожалуйста, потом. Это не важно...

Парусиновый пиджак на груди у него промок от Дашиных слез. И ей стало легче.

— Вы к нам ехали? — спросила она.

— Да, я проститься приехал, Дарья Дмитриевна... Вчера только узнал, что вы здесь, и вот... хотел бы проститься...

— Проститься?

— Призывают, ничего не поделаешь.

— Призывают?

— Разве вы ничего не слышали?

— Нет.

— Война, оказывается, вот в чем дело-то. — И, улыбаясь, он влюбленно и как-то по-новому, уверенно глядел Даше в лицо.

XIV

В кабинете редактора большой либеральной газеты — «Слово народа» — шло чрезвычайное редакционное заседание, и так как вчера законом спиртные напитки были запрещены, то к редакционному чаю, сверх обычая, были поданы коньяк и ром.

Матерые, бородатые либералы сидели в глубоких креслах, курили табак и чувствовали себя сбитыми с толку. Молодые сотрудники разместились на подоконниках и на знаменитом кожаном диване, оплоте оппозиции, про который один известный писатель выразился неосторожно, что там — клопы.

Редактор, седой и румяный, английской повадки мужчина, говорил чеканным голосом, — слово к слову, — одну из своих замечательных речей, которая должна была и на самом деле дала линию поведения всей либеральной печати.

«...Сложность нашей задачи в том, что, не уступая ни шагу в оппозиции царской власти, мы должны перед лицом опасности, грозящей целостности Российского государства, подать руку этой власти. Наш жест должен быть честным и открытым. Вопрос о вине царского правительства, вовлекшего Россию в войну, — есть в эту минуту вопрос второстепенный. Мы должны победить, а затем судить виновных. Господа, в то время как мы здесь разговариваем, под Красновом происходит кровопролитное сражение, куда в прорыв нашего фронта брошена наша гвардия. Исход сражения еще не известен, но помнить надлежит, что опасность грозит Киеву. Нет сомнения, что война не может продолжиться более трех-четырёх месяцев, и каков бы ни был ее исход — мы с гордо поднятой головой скажем царскому правительству: в тяжелый час мы были с вами, теперь мы требуем вас к ответу...»

Один из старейших членов редакции — Белосветов — пишу-щий по земскому вопросу, не выдержав, воскликнул вне себя:

— Воюет царское правительство, при чем здесь мы и протянутая рука? — убейте, не понимаю. Простая логика говорит, что мы должны отмежеваться от этой авантюры, а вслед за нами и вся интеллигенция. Пускай цари ломают себе шеи, — мы только выиграем.

— Да уж знаете, протягивать руку Николаю Второму, как хотите, — противно, господа, — пробормотал Альфа, передовик, выбирая в сахарнице пирожное, — во сне холодный пот прошибет...

Сейчас же заговорило несколько голосов:

— Нет и не может быть таких условий, которые заставили бы нас пойти на соглашение...

— Что же это такое — капитуляция? — я спрашиваю.

— Позорный конец всему прогрессивному движению.

— А я, господа, все-таки хотел бы, чтобы кто-нибудь объяснил мне цель этой войны.

— Вот когда немцы намнут шею — тогда узнаете.

— Эге, батенька, да вы, кажется, националист!

— Просто я не желаю быть битым.

— Да, ведь бить-то будут не вас, а Николая Второго.

— Позвольте... А Польша? а Волынь? а Киев?..

— Чем больше будем биты — тем скорее настанет революция.

— А я ни за какую вашу революцию не желаю отдавать Киева...

— Петр Петрович, стыдитесь, батенька...

С трудом восстановив порядок, редактор разъяснил, что на основании циркуляра о военном положении военная цензура закроет газету за малейший выпад против правительства, и будут уничтожены зачатки свободного слова, в борьбе за которое положено столько сил.

«...Поэтому предлагаю уважаемому собранию найти приемлемую точку зрения. Со своей стороны смею высказать, быть может, парадоксальное мнение, что нам придется принять эту войну целиком, со всеми последствиями. Не забывайте, что война чрезвычайно популярна в обществе. В Москве ее объявили второй Отечественной, — он тонко улыбнулся и опустил глаза, — Государь был встречен в Москве почти горячо. Мобилизация среди простого населения проходит так, как этого ожидать не могли и не смели...»

— Василий Васильевич, да вы шутите или нет? — уже совсем жалобным голосом воскликнул Белосветов, — да ведь вы, как карточный домик, целое мировоззрение рушите... Идти помогать правительству? А десять тысяч лучших русских людей, гниющих в Сибири?.. А расстрелы рабочих?.. Ведь еще кровь не обсохла.

Все это были разговоры, прекраснейшие и благороднейшие, но каждому становилось ясно, что соглашения с правительством не миновать, и поэтому, когда из типографии принесли корректуру передовой статьи, начинавшейся словами: «Перед лицом германского нашествия мы должны сомкнуть единый фронт», — собрание молча просмотрело гранки, кое-кто сдержанно вздохнул, кое-кто сказал многозначительно: «Дожили-с». Белосветов порывисто застегнул на все пуговицы черный сюртук, обсыпанный пеплом, но не ушел и опять сел в кресло, и очередной номер был сверстан с заголовком: «Отечество в опасности. К оружию».

Все же в сердце каждого было смутно и тревожно. Каким образом прочный европейский мир в двадцать четыре часа взлетел на воздух и почему гуманная европейская цивилизация, посредством которой «Слово народа» ежедневно кололо глаза правительству и совестило обывателей, оказалась обманом, просто — отводом глаз (уж, кажется, выдумали и книгопечатание, и электричество, и даже радиий, а настал час, — и под крахмальной грудью фрака объявился все тот же звероподобный, волосатый человецище с дубиной) — нет, это редакции усвоить было трудно и признать — слишком горько.

Молча и невесело окончилось совещание. Маститые писатели пошли завтракать к Кюба, молодежь собралась в кабинете заведующего хроникой. Было решено произвести подробнейшее обследование настроения самых разнообразных сфер и кругов. Антошке Арнольдovu поручили отдел военной цензуры. Он под горячую руку взял аванс и на лихаче «запустил» по Невскому в Главный штаб.

Заведующий отделом печати, полковник Генерального штаба Солнцев, принял в своем кабинете Антошку Арнольдова и учтиво выслушивал его, глядя в глаза ясными, выпуклыми, весе-

лыми глазами. Антошка приготовился встретить какого-нибудь чудо-богатыря, — багрового, с львиным лицом генерала, — бича свободной прессы, но перед ним сидел изящный, румяный, воспитанный человек и не хрипел, и не рычал басом, и ничего не готовился давить и пресекать, — все это плохо вязалось с обычным представлением о царских наемниках.

— Так вот, полковник, надеюсь, вы не откажете осветить вашим авторитетным мнением означенные у меня вопросы, — сказал Арнольдов, покосившись на темный, во весь рост, портрет императора Николая I, глядевшего неумолимыми глазами на представителя прессы, точно желая ему сказать: пиджачишко короткий, башмаки желтые, нос в поту, вид гнусный, — боишься, сукин сын... Я не сомневаюсь, полковник, что к Новому году русские войска будут в Берлине, но редакцию интересуют, главным образом, некоторые частные вопросы...

Полковник Солнцев учтиво перебил:

— Мне кажется, что русское общество недостаточно уясняет себе размеры настоящей войны и те последствия, какими она будет сопровождаться. Конечно, я не могу не приветствовать ваше прекрасное пожелание нашей доблестной армии войти в Берлин, но опасаясь, что сделать это труднее, чем вы думаете. Я со своей стороны полагаю, что важнейшая задача прессы в настоящий момент должна заключаться в том, чтобы подготовить общество к мысли об очень серьезной опасности, грозящей нашему государству, а также о чрезвычайных жертвах, которые мы все должны принести во избежание нежелательных последствий вторжения врага в пределы России.

Антошка Арнольдов опустил блокнот и с недоумением взглянул на полковника. Как раз за спиной его возвышалась темная фигура Николая Первого. У обоих были те же глаза, но у того — грозные, у этого — веселые. В огромном кабинете было чисто, сурово, монументально и пахло столетием. Солнцев продолжал:

— Мы не искали этой войны, и сейчас мы пока только обороняемся. Германцы имеют преимущество перед нами в количестве артиллерии, густоте пограничной сети железных дорог и, стало быть, в быстроте передвижения войск. Тем не менее, мы сделаем все возможное, чтобы не допустить врага перейти наши границы. Русские войска исполняют возложенный на них тяжелый долг. Общество должно довериться высшей власти и армии. Но было бы весьма желательно, чтобы общество со своей стороны тоже прониклось чувством долга к отечеству. — Солнцев поднял брови и на лежащем перед ним чистом листе бумаги нарисовал квадрат. — Я понимаю, что чувство патриотизма среди некоторых кругов несколько осложнено. Но опасность настолько серьезна, что — я уверен — все споры и счеты будут отложены до лучшего

времени. Российская империя даже в двенадцатом году не переживала столь острого момента. Вот все, что я бы хотел, чтобы вы отметили. Затем нужно привести в известность, что имеющиеся в распоряжении правительства военные лазареты не смогут вместить всего количества раненых. Поэтому и с этой стороны обществу нужно быть готовым к широкой помощи...

— Простите, полковник, я не понимаю — какое же может быть количество раненых?

Солнцев опять поднял брови и нарисовал в квадрате круг:

— Мне кажется, в ближайшие недели нужно ожидать тысяч двести пятьдесят — триста.

Антошка Арнольдов проглотил слюну, записал цифры и спросил совсем уже почтительно:

— Сколько же нужно считать убитых в таком случае?

— Обычно мы считаем десять процентов от количества раненых.

— Ага, благодарю вас.

Солнцев поднялся. Антошка быстро пожал ему руку и, растворя дубовую дверь, столкнулся с входившим Атлантом, чахоточным, взлохмаченным журналистом в помятом пиджаке и уже со вчерашнего дня не пившим водки.

— Полковник, я к вам насчет войны, — проговорил Атлант, прикрывая ладонью грязную грудь рубашки.

— Милости просим.

Из Главного штаба Арнольдов вышел на Дворцовую площадь, надел шляпу и стоял некоторое время, прищурясь.

— Война до победного конца, — пробормотал он сквозь зубы, — держитесь теперь, старые калоши, мы вам покажем «пораженчество».

На огромной, чисто выметенной площади, с гранитным, грузным столпом Александра, повсюду двигались небольшие кучки бородатых, нескладных мужиков. Слышались резкие выкрики команды. Мужики строились, перебежали, ложились. В одном месте человек пятьдесят их, поднявшись с мостовой, закричали нестройно: «Уряя», — и побежали споткнутой рысью... «Стой. Смирно... Сволочи, сукины дети!..» — перекричал их чей-то осипший голос. В другом месте было слышно: «Добегишь — и коли его в туловище, а штык сломал — бей прикладом».

Это были те самые корявые мужики с бородами венником, в лаптях и рубахах с проступавшей на лопатках солью, которые двести лет тому назад приходили на эти топкие берега строить город. Сейчас их снова вызвали — поддержать плечами дрогнувший столб Империи.

Антошка повернул на Невский, все время думая о своей статье. Посреди улицы, под завывавший, как осенний ветер, свист

флейт, шли две роты в полном походном снаряжении, с мешками, котелками и лопатами. Широкоскулые лица солдат были усталые и покрыты пылью. Маленький офицер в зеленой рубашке, с новенькими ремнями — крест-накрест, — поминутно поднимаясь на цыпочки, оборачивался и выкатывал глаза: «Правой. Правой!» Как сквозь сон, шумел нарядный, сверкающий экипажами и стеклами, Невский. «Правой. Правой. Правой». Мерно покачиваясь, вслед за маленьким офицером шли покорные, тяжелоногие мужики. Их догнал вороной рысак, брызгая пеной. Широкозадый кучер осадил его. В коляске поднялась красивая дама и глядела на проходивших солдат. Вдруг рука ее в белой перчатке стала крестить их, и слезы текли у нее по лицу.

Солдаты прошли, их заслонил поток экипажей. На тротуарах было жарко и тесно, и все словно чего-то ожидали. Прохожие останавливались, слушали какие-то разговоры и выкрики, протискивались, спрашивали, в возбуждении отходили к другим кучкам. Повсюду свертывались водовороты людей, начиналась давка.

Беспорядочное движение понемногу определялось, — толпы уходили с Невского на Морскую. Там уже двигались прямо по улице. Пробежали, молча и озабоченно, какие-то мелкорослые парни. На перекрестке полетели шапки, замахали зонтики. «Ура! Ура!» — загудело по Морской. Пронзительно свистели мальчишки. Повсюду в остановленных экипажах стояли нарядные женщины. Толпа валила валом к Исаакиевской площади, разливалась по ней, лезла через решетку сквера. Все окна и крыши были полны народом. Как муравейник, шевелились головы между колоннами Исаакия. И все эти десятки тысяч людей глядели туда, где из верхних окон матово-красного, тяжелого здания германского посольства вылетали клубы дыма. За разбитыми стеклами перебежали какие-то люди, швыряли в толпу пачки бумаг, и они, разлетаясь в воздухе, медленно падали. С каждым клубом дыма, с каждой новой вещью, выброшенной из окон, по толпе проходил рев. Но вот на фронтоне дома, где два бронзовых великана держали под уздцы коней, появились те же хлопотливые человечки. Толпа затихла, и послышались металлические удары молотков. Правый из великанов качнулся и рухнул на тротуар. Толпа завyla, кинулась к нему, началась давка, бежали отовсюду. «В Мойку их! В Мойку окаянных!» Повалилась и вторая статуя. Антошку Арнольдова схватила за плечо какая-то полная дама в пенсне и кричала ему: «Всех их перетопим, молодой человек!» Толпа двинулась к Мойке. Послышались пожарные рожки, и вдалеке засверкали медные шлемы. Из-за углов выдвинулась конная полиция. И вдруг, среди бегущих и кричащих, Арнольдов увидел страшно бледного человека, без шляпы, с неподвижно-

раскрытыми стеклянными глазами. Он узнал Бессонова и подошел к нему.

— Вы были там? — сказал Бессонов. — Я слышал, как убивали.

— Разве было убийство? Кого убили?

— Не знаю.

Бессонов отвернулся и неровной походкой, как невидящий, пошел по площади. Остатки толпы отдельными кучками бежали теперь на Невский, где начинался погром кофейни Рейтера.

В тот же вечер Антошка Арнольдов, стоя у конторки в одной из прокуренных комнат редакции, быстро писал на узких полотнах бумаги: «...Сегодня мы видели весь размах и красоту народного гнева. Необходимо отметить, что в погребах германского посольства не было выпито ни одной бутылки вина, — все разбито и вылито в Мойку. Примирение невозможно. Мы будем воевать до победного конца, каких бы жертв это нам ни стоило. Немцы рассчитывали застать Россию спящей, но при громовых словах: “Отечество в опасности”, — народ поднялся, как один человек. Гнев его будет ужасен. Отечество, — могучее, но забытое нами слово. С первым выстрелом германской пушки оно ожило во всей своей девственной красоте и огненными буквами засияло в сердце каждого из нас...»

Антошка зажмурился, мурашки пошли у него по спине. Какие слова приходится писать! Не то что две недели тому назад, когда ему было поручено составить обзор летних развлечений. И он вспомнил, как в Буффе выходил на эстраду человек, одетый свиньей, и пел: «Я поросенок, и не стыжусь. Я поросенок, и тем горжусь. Моя маман была свинья, похож на маму очень я...»

«...Мы вступаем в героическую эпоху. Довольно мы гнили заживо. Война наше очищение», — писал Антошка, брызгая пером.

Несмотря на сопротивление пораженцев во главе с Белосветовым, статья Арнольдова была напечатана. Уступку прежнему сделали только в том, что поместили ее на третьей странице и под академическим заглавием: «В дни войны». Сейчас же в редакцию стали приходять письма от читателей, — одни выражали восторженное удовлетворение по поводу статьи, другие — горькую иронию. Но первых было гораздо больше. Антошке прибавили построчную плату и, спустя неделю, вызвали в кабинет главного редактора, где, седой и румяный, пахнувший английским одеколоном, Василий Васильевич, предложив Антошке кресло, сказал:

— Вам нужно ехать в деревню.

— Слушаюсь.

— Мы должны знать, что думают и говорят мужики. От нас этого требуют. — Он ударил ладонью по большой пачке писем. — В интеллигенции проснулся огромный интерес к деревне. Мы должны им дать живое, непосредственное впечатление об этом сфинксе.

— Результаты мобилизации указывают на огромный патриотический подъем, Василий Васильевич.

— Знаю. Но откуда он, черт возьми, у них взялся? Поезжайте, куда хотите, послушайте и поспрошайте. К субботе я жду от вас 500 строк деревенских впечатлений.

Из редакции Антошка пошел на Невский, где купил дорожный, военного фасона, костюм, желтые краги и фляжку, позавтракал у Альберта и пришел к решению, что проще всего поехать ему в деревню Хлыбы, где этим летом у своего брата Кия гостила Елизавета Киевна. Вечером он занял место в купе международного вагона, закурил сигару и, вытянув ноги, подумал: «Жизнь!»

Деревня Хлыбы, в шестьдесят с лишком дворов, с заросшими крыжовником огородами и старыми липами посреди улицы, с большим, на бугорке, зданием школы, переделанным из помещичьего дома, лежала в низинке, между болотом и речонкой Свиноухой, и вся вокруг густо заросла крапивой и лопухом. Деревенский надел был небольшой, земля тощая, мужики почти все ходили в Москву на промыслы.

Когда Арнольдов, под вечер, въехал на плетушке в деревню — его удивила тишина. Только кудахнула глупая курица, выбежав из-под лошадиных ног, зарычала под амбаром старая собака, да где-то на речке колотил валец, да бодались два барана посреди улицы, стучали рогами.

Арнольдов вылез около каменных ворот с облупленными львами, стоящими посреди лужайки, расплатился с глухим старичком, привезшим его со станции, и пошел по тропинке туда, где за прозрачной зеленью берез виднелись белые колонки школы. Там, на крыльце на полусгнивших ступенях, сидели Кий Киевич — учитель — и Елизавета Киевна и не спеша беседовали. Внизу по лугу протянулись от огромных ветел длинные тени. Переливаясь, летали темным облачком скворцы. Играл вдалеке рожок, собирая стадо. Несколько красных коров вышли из тростника, и одна, подняв морду, заревела. Кий Киевич, очень похожий на сестру, с такими же нарисованными глазами, но не добрыми и в очках, говорил, кусая соломинку:

— Ты, Лиза, ко всему тому чрезвычайно не организована в области половой сферы. Типы, подобные тебе, — суть отвратитель-

ные отбросы буржуазной культуры. Для революционной работы ты совершенно не годна.

Елизавета Киевна с ленивой улыбкой глядела туда, где на лугу в свете опускающегося солнца желтели и теплели трава и тени.

— Уеду в Африку, — сказала она, — вот увидишь, Кий, уеду в Африку. Меня давно туда зовут подымать восстание у негров.

— Не верю и считаю негритянскую революцию несвоевременной и глупой затеей.

— Ну, это мы там увидим...

— Происходящая сейчас европейская война должна окончиться тем, что международный пролетариат возьмет в свои руки инициативу социальной революции. Мы должны к этому готовиться и не тратить сил на чисто политические выступления. Тем более негры — это вздор.

— Удивительно тебя скучно слушать, Кий, все ты наизусть выучил, все тебе ясно, как по книжке.

— Каждый человек, Лиза, должен заботиться о том, чтобы привести все свои идеи в порядок и систему, а не о том, чтобы скучно или нескучно разговаривать.

— Ну и заботься на здоровье.

Подобные беседы брат и сестра вели обычно по целым дням, — делать обоим было нечего. Когда Елизавете Киевне хотелось острых ощущений, она начинала говорить несправедливые вещи. Кий Киевич сдерживался, хмурился, затем кричал на сестру глухим голосом. Она, выслушав все упреки, молча плакала, потом уходила на речку купаться.

Сегодня вечер был тих. Неподвижно перед крыльцом висели зелено-прозрачные ветви плакучих берез. Тыркал дергач в траве под горою. Кий Киевич говорил о том, что Лизе пора остепениться и начать полезную деятельность. Она же, глядя близорукими глазами на расплывавшиеся очертания деревьев в оранжевом закате, думала, как она будет жить среди освобожденных негров, боготворимая ими, и как об этом услышит Иван Ильич Телегин, придет к ней и скажет: «Лиза, я вас никогда не понимал. Вы удивительная и обаятельная женщина».

В это время Антошка Арнольдов, подойдя к крыльцу, поставил чемодан и сказал:

— Лиза, вот и я. Не ждали? Здравствуйте, моя пышная женщина, — он поцеловал ее в щеку, — во-первых, я хочу есть, затем мне нужен огромный материал, — к субботе я должен сдать фельетон. Это — ваш брат? Его-то мне и нужно.

Антошка обеими руками потряс руку Кию Киевичу, уселся на лестнице, вытянул ноги в желтых крагах и закурил трубку:

— Скажите, Кий Киевич, что в ваших Хлыбах думают и говорят о войне?

Кий Киевич, принявший на всякий случай обиженный и ску- чающий вид, чтобы как-нибудь не заподозрили, будто на него могут произвести впечатление разные авторитеты — столичные писатели, поковырял в зубах соломинкой, сморщил кожу на лбу.

— Я думаю, — ответил он, — что война цинично инсцениро- вана международным капиталом. Германию отдельно винить не в чем. Пролетариат был вынужден, — временно конечно, — встать на патриотическую платформу.

— Я бы хотел услышать, Кий Киевич, что говорят сами му- жики.

— А черт их знает. Я им старался растолковывать социально- экономическую подкладку войны, — куда там. Темнота такая, что даже надежды нет никакой на этот класс.

— Ну а все-таки что-нибудь да они там говорят?

— Подите сами на деревню, послушайте. Для стихшков или для новеллы может пригодиться.

Кий Киевич, обидевшись, замолчал. Солнце садилось в си- зо-лиловую длинную тучу. Померкли тени от ветел на лугу. И во всей нежно задымившейся речной низине, все шире и дружнее, застонали, заухали печальные голоса лягушек.

— У нас замечательные лягушки, — сказала Елизавета Киев- на. Кий Киевич покосился на нее и пожал плечами. Из-за угла вышла стряпуха и позвала ужинать.

В сумерки Антошка и Елизавета Киевна пошли на деревню. Августовские созвездия высыпали по всему холодеющему небу. Внизу, в Хлыбах, было сыровато, пахло еще неосевшей пылью от стада и парным молоком. Кое-где у ворот стояли распряженные телеги. Под липами, где было совсем темно, скрипел журавель колодца, фыркнула лошадь, и было слышно, как пила, отдува- ясь. На открытом месте, у деревянной амбарушки, накрытой, как колпаком, соломенной крышей, на бревнах сидели три дев- ки и напевали негромко. Елизавета Киевна и Антошка подошли и тоже сели, в стороне, на бревна.

Хлыбы-то деревня.
Всем она украшена —
Стульями, букетами.
Девчоночки патретами...

Пели девки. Одна из них, крайняя, обернувшись к подошед- шим, сказала тихо:

— Что же, девки, спать, что ли, пора.

И они сидели не двигаясь. В амбарушке кто-то возился, потом скрипнула дверца, и наружу вышел небольшого роста лысый му- жик в расстегнутом полушубке; кряхтя, долго запырил висячий

замок, потом подошел к девкам, положил руки на поясницу и вытянул козлиную бороду:

— Соловьи-птицы, все поете?

— Поем, да не про тебя, дядя Федор.

— А вот я вас сейчас кнутом отсюда... Каки-таки порядки — по ночам песни петь...

— А тебе завидно?

И другая сказала со вздохом:

— Только нам и осталось, дядя Федор, про Хлыбы-то наши петь.

— Да, плохо ваше дело. Осиротели.

Федор присел около девок. Ближняя к нему сказала:

— Народу, нонче Козьмодемьянские бабы сказывали, народу на войну забрали — полсвета.

— Скоро, девки, и до вас доберутся.

— Это нас-то на войну?

— Велено всех баб в солдаты забрить. Только от вас дух в походе очень чижолый.

Девки засмеялись, и крайняя опять спросила:

— Дядя Федор, с кем у нашего царя война?

— С европейцем.

Девки переглянулись, одна вздохнула, другая поправила полушалку, крайняя проговорила:

— Так нам и Козьмодемьянские бабы сказывали, что, мол, с европейцем.

— Дядя Федор, а где же он обитает?

— Около моря большею частью находится.

Тогда из-за бревен, из травы, поднялась лохматая голова и прохрипела, натягивая на себя полушубок:

— А ты — будет тебе молоть. Какой европейец, с немцем у нас война.

— Все может быть, — ответил Федор.

Голова опять скрылась. Антошка Арнольдов, вынув папиросницу, предложил Федору папироску и затем спросил осторожно:

— А что, скажите, из вашей деревни охотно пошли на войну?

— Охотой многие пошли, господин.

— Был, значит, подъем?

— Да, поднялись. Пища, говорят, в полку сытная. Отчего не пойти. Все-таки посмотрит — как там и что. А убьют — все равно и здесь помирать. Землишка у нас совсем скудная, приработки плохие, перебиваемся с хлеба на квас. А там, все говорят, — пища очень хорошая, два раза в день мясо едят и сахар казенный, и чай, и табак, — сколько хочешь кури.

— А разве не страшно воевать?

— Как не страшно, конечно — страшно.

XV

Телеги, покрытые брезентами, воза с соломой и сеном, санитарные повозки, огромные корыта понтонов, покачиваясь и скрипя, двигались по широкому, залитому жидкой грязью, шоссе. Не переставая лил дождь, косой и мелкий. Борозды пашен и канавы, с боков дороги, были полны водой. Вдали неясными очертаниями стояли деревья и перелески. Дул резкий ветер, и над разбухшими, бурными полями летели, клубясь, рваные тучи.

Под крики и ругань, шелканье кнутов и треск осей об оси, в грязи и дожде, двигались сплошной лавиной обозы наступающей русской армии. С боков пути валялись дохлые и издыхающие лошади, торчали кверху колесами опрокинутые телеги. Иногда вдвигающийся этот поток врвался военный автомобиль. Начинались крики, кряканье, лошади становились на дыбы, валилась под откос груженная телега, горохом скатывались вслед за ней обозные.

Далее, где прерывался поток экипажей, шли, растянувшись на далеко, скользили по грязи солдаты в накинутых на спины мешках и палатках. В нестройной их толпе двигались воза с поклажей, с ружьями, торчащими во все стороны, со скорченными наверху денщиками. Время от времени с шоссе на поле сбегал человек и, положив винтовочку на траву, присаживался на корточки.

Далее опять колыхались воза, понтоны, повозки, городские экипажи с промокшими в них фигурами в офицерских плащах. Этот грохочущий поток то сваливался в ложину, теснился, орал и дрался на мостах, то медленно вытягивался в гору и пропадал за перекатом. С боков в него вливались новые обозы с хлебом, сеном и снарядами. По полю, перегоняя, проходили небольшие кавалерийские части.

Иногда в обозы с треском и железным грохотом врзалась артиллерия. Огромные, грудастые лошади и ездовые на них, с бородатыми, свирепыми лицами, хлеща по лошадям и по людям, как плугом расчищали шоссе, волоча за собой подпрыгивающие, тупорылые пушки. Отовсюду бежали люди, вставали на возах, махали руками. И опять смыкалась река, вливалась в лес, остро пахнущий грибами, прелыми листьями и весь мягко шумящий от дождя.

Далее, с обеих сторон дороги, торчали из мусора и головешек печные трубы, качался разбитый фонарь, на кирпичной стене развороченного снарядами дома хлопала пестрая афиша сине-матографа. И здесь же, в телеге без передних колес, лежал раненый, в голубом капоте, — желтое личико с кулачок, мутные тоскливые глаза.

Верстах в двадцати пяти от этих мест глухо перекачивался по дымному горизонту гром орудий. Туда вливались эти войска и обозы день и ночь. Туда со всей России тянулись поезда, груженные хлебом, людьми и снарядами. Вся страна всколыхнулась от грохота пушек. Наконец настала воля всему, что, в запрете и духоте, копилось в ней жадного, неутоленного, грешного, злого.

Население городов, пресыщенное и расхлябанное обезображенной нечистой жизнью, словно очнулось от душного сна. В грохоте пушек был освежающий голос мировой грозы. Стало казаться, что прежняя жизнь невыносима далее. Население со злорадной яростью приветствовало войну.

В деревнях много не спрашивали — с кем война и за что, — не все ли было равно. Уже давно злоба и ненависть кровавым туманом застилали глаза. Время страшным делам приспело. Парни и молодые мужики, побросав баб и девок, расторопные и жадные, набивались в товарные вагоны, со свистом и похабными песнями проносились мимо городов. Кончилось старое житье, — Россию, как большой ложкой, начало мешать и мутить, все тронулось, сдвинулось и опьянело густым хмелем войны.

Доходя до громающей на десятки верст полосы боя, обозы и воинские части разливались и таяли. Здесь кончалось все живое и человеческое. Каждому отводилось место в земле, в окопе. Здесь он спал, ел, давил вшей и до одури «хлестал» из винтовки в полосу дождевой мглы.

По ночам по всему горизонту багровыми, высокими заревами медленно мигали пожарища, искряные шнуры ракет чертили небо, рассыпались звездами, с настигающим воем налетали снаряды, били в землю и взрывались столбами огня, дыма и пыли.

Здесь сосало в животе от тошного страха, съезживалась кожа и поджимались пальцы. Близ полночи раздавались сигналы. Пробегали офицеры с трясущимися губами. Руганью, криком, побоями поднимали опухших от сна и сырости солдат. И, спотыкаясь, с матерной бранью и воем, бежали нестройные кучки людей по полю, ложились, вскакивали и, оглушенные, обезумевшие, потерявшие память от ужаса и злобы, врывались в окопы врагов.

И потом никогда никто не помнил, что делалось там, в этих окопах. Когда хотели похвастаться геройскими подвигами, — как всажено был штык, как под ударом приклада хряснула голова, вылетел мозг, — приходилось врать. От ночного дела оставались трупы, да отобранные у них табак, одеяла и кофей.

Наступал новый день, подъезжали кухни. Вялые и прозябшие солдаты ели и курили. Потом разговаривали о дерьме, о бабах, и тоже много врали. Искали вшей и спали. Спали целыми днями в этой оголенной, загаженной испражнениями и кровью полосе грохота и смерти.

Точно так же, в грязи и сырости, не раздеваясь и по неделям не снимая сапог, жил и Телегин. Армейский полк, куда он зачислился прапорщиком, наступал с боями. Больше половины офицерского и солдатского состава было выбито, пополнений они не получали, и все ждали только одного: когда их — полуживых от усталости и обносившихся — отведут в тыл.

Но высшее командование стремилось до наступления зимы во что бы то ни стало вторгнуться через Карпаты в Венгрию и опустошить ее. Людей не щадили, — человеческих запасов было много. Казалось, что этим длительным напряжением третий месяц непрерывающегося боя будет сломлено сопротивление отступающих в беспорядке австрийских армий, падут Краков и Вена, и левым крылом русские смогут ударить в незащищенный тыл Германии.

Следуя этому плану, русские войска безостановочно шли на запад, захватывая десятки тысяч пленных, огромные запасы продовольствия, снарядов, оружия и одежды. В прежних войнах лишь часть подобной добычи, лишь одно из этих непрерывных, кровавых сражений, где ложились целые корпуса, решило бы участь кампании. И, несмотря даже на то, что в первых же битвах погибли регулярные армии, ожесточение только росло. Ненависть становилась высшим проявлением добродетели. На войну, по воле и по неволе, шли все, от детей до стариков, весь народ. Было что-то в этой войне выше человеческого понимания. Казалось, враг разгромлен, изошел кровью, еще усилие — и будет решительная победа. Усилие совершалось, но на месте растаявших армий врага вырастали новые, с унылым упрямством шли на смерть и гибли. Ни татарские орды, ни полчища персов не дрались так жестоко и не умирали так легко, как слабые телом, изнеженные европейцы или хитрые русские мужики, видевшие, что они только бессловесный скот, — мясо в этой бойне, затеянной господами. Это упорство народов, разбивавшее все планы высших командований, заставляло думать, что в войне была какая-то иная цель, чем победа той или иной стороны. Но цель эта была до времени скрыта от понимания.

Остатки полка, где служил Телегин, окопались по берегу узкой и глубокой речки. Позиция была дурная, вся на виду и окопы мелкие. В полку с часу на час ожидали приказа к наступлению, и пока все были рады выспаться, переобуться, отдохнуть, хотя с той стороны речки, где в траншеях сидели австрийские части, шел сильный ружейный обстрел.

Под вечер, когда часа на три, как обычно, огонь затих, Иван Ильич пошел в штаб полка, помещавшийся в покинутом замке, верстах в двух от позиции.

Белый, лохматый туман лежал по всей извивающейся в зарослях речке и вился в прибрежных кустах. Было тихо, сыро и пахло мокрыми листьями. Изредка по воде глухим шаром катился одинокий выстрел.

Иван Ильич перепрыгнул через канаву на шоссе, остановился и закурил. С боков, в тумане, стояли облетевшие, огромные деревья, казавшиеся чудовищно высокими. По сторонам их на топкой низине было словно разлито молоко. В тишине жалобно свистнула пулька. Иван Ильич глубоко вздохнул и зашагал по хрустящему гравияю, поглядывая вверх на призрачные вершины и ветви. От этого покоя и от того, что он один идет и думает, — в нем все отдыхало, отходил трескучий шум дня, и в сердце понемногу пробиралась тонкая, пронзительная грусть. Он еще раз вздохнул, бросил папиросу, заложил руки за шею и так шел, словно в чудесном мире, где были только призраки деревьев, его живое, изнавающее любовью, сердце и незримая, все это пронизывающая прелесть Даши.

Даша была с ним в этот час отдыха и тишины. Он чувствовал ее прикосновение каждый раз, когда затихали железный вой снарядов, трескотня ружей, крики, ругань, все эти лишние в божественном мироздании звуки, когда можно было уткнуться где-нибудь в углу землянки, закутав голову шинелью, и тогда словно непередаваемая прелесть входила в него, касалась сердца. Даша была с ним всегда, верная и строгая.

Ивану Ильичу казалось, что, если придется умирать, — до последней минуты он будет испытывать это счастье соединения и, освободившись от себя, — утонет, воскреснет в нем. Он не думал о смерти и не боялся ее. Ничто теперь не могло оторвать его от изумительного состояния жизни, даже смерть.

Этим летом, подъезжая к Евпатории, чтобы в последний раз, как ему казалось, взглянуть на Дашу, Иван Ильич трусил, волновался и придумывал всевозможные извинения. Но встреча на дороге, неожиданные слезы Даши, ее светловолосая голова, прижавшаяся к нему, ее волосы, руки, плечи, пахнущие морем, ее заплаканный рот, сказавший, когда она подняла к нему лицо с зажмуренными, мокрыми ресницами: «Иван Ильич, милый, как я ждала вас», — все эти свалившиеся как с неба, несказанные вещи, там же, на дороге у моря, перевернули в несколько минут всю жизнь Ивана Ильича. Вместо всяких объяснений он сказал, спокойно и твердо глядя в любимое лицо, взволнованно дрогнувшее испугом:

— На всю жизнь люблю вас.

Впоследствии ему даже казалось, что он, быть может, и не выговорил этих слов, только подумал, и она поняла. Даша опустила голову и, сняв с его плеч руки, проговорила:

— Мне нужно очень многое вам сообщить. Пойдемте.

Они пошли и сели у воды, на песке. Даша взяла горсть камешков и не спеша кидала их в воду.

— Дело в том, что еще вопрос — сможете ли вы-то ко мне хорошо относиться, когда узнаете про все, — сказала она и краешком глаза увидела, что Иван Ильич медленно побледнел и сжал рот. — Хотя все равно, относитесь, как хотите. — Она вздохнула и обоими кулачками подперла подбородок. Глаза ее опять налились слезами; с досадой она вытерла их прямо рукой.

— Без вас я очень нехорошо жила, Иван Ильич. Если можете — простите меня.

И она начала рассказывать все, честно и подробно, — о Самаре и о том, как приехала сюда и встретила Бессонова и у нее прошла охота жить — так стало омерзительно от всего этого петербургского чада, который снова поднялся, отравил кровь, разжег любопытством...

— До каких еще пор было топорщиться? Слава богу, — двадцать лет, такая же баба, как все. Захотелось сесть в грязь — туда и дорога. А вот все-таки струсила в последнюю минуту.. Ненавижу себя... Иван Ильич, милый... — Даша всплеснула руками. — Помогите мне. Не хочу, не могу больше ненавидеть себя... Я дурная, нечистая, грешная, да, да, да... Но ведь не все же во мне погибло... Я любить хочу, милый мой...

После этого разговора Даша легла на песке и молчала очень долго. Иван Ильич глядел, не отрываясь, на сияющую солнцем зеркальную, голубоватую воду, — душа его, наперекор всему, заливалась счастьем. Когда он решился взглянуть на Дашу — она спала, чуть-чуть приоткрыв рот, как ребенок.

О том, что началась война и Телегин должен ехать завтра догонять полк, Даша сообразила только потом, когда от поднявшегося ветра волною ей замочило ноги, — она вздохнула, проснулась, села и, взглянув на Ивана Ильича, нежно, изумленно улыбнулась.

— Иван Ильич?

— Да.

— Вы хорошо ко мне относитесь?

— Да.

— Очень?

— Да.

Тогда она подползла к нему по песку на коленях, села рядом, поворочалась и положила руку ему в руку, так же как тогда на пароходе.

— Иван Ильич, я тоже — да.

Крепко сжав его задрожавшие пальцы, она спросила, после молчания:

— Что вы мне сказали тогда, на дороге?.. — Она сморщила лоб. — Какая война? С кем?

— С немцами.

— Ну, а вы?

— Уезжаю завтра.

Даша ахнула и замолчала. Издали, по берегу, к ним бежал в смятой полосатой пижаме, очевидно только что выскочивший из кровати, Николай Иванович, останавливался, весь красный, взмахивал газетным листом и кричал что-то.

На Ивана Ильича он не обратил внимания. Когда же Даша сказала: «Николай, это мой самый большой друг», — Николай Иванович схватил Телегина за пиджак и, потрясая, заорал в лицо:

— Не забывайте, милостивый государь, что я, прежде всего, — патриот. Я не уступлю вашим немцам ни вершка земли...

Весь день Даша не отходила от Ивана Ильича, была смиренная и задумчивая. Ему же казалось, что этот день, наполненный голубоватым светом солнца и шумом моря, неизменно велик. Каждая минута будто раздвигалась в целую жизнь.

Телегин и Даша бродили по берегу, лежали на песке, сидели на террасе и были, как отуманенные. И, не отвязываясь, всюду за ними ходил Николай Иванович, произнося огромные речи по поводу войны и немецкого засилья. Телегин, слушая его, кивал головой и думал: «Даша, Даша милая».

— Эх, батенька, — кричал Николай Иванович, — вы просто размазня. — И обращался к Даше: — Собственными руками задушил бы Вильгельма.

И Даша, глядя ему в налитые кровью глаза, думала: «Господи, сохрани мне Ивана Ильича».

Под вечер удалось, наконец, отвязаться от Николая Ивановича. Даша и Телегин ушли одни далеко по берегу пологого залива. Шли молча, ступая в ногу, касаясь локтями друг друга. И здесь Иван Ильич начал думать, что нужно все-таки сказать Даше какие-то слова. Конечно, она ждет от него горячего и, кроме того, определенного объяснения. А что он может пробормотать? Разве словами выразить то, чем он полон весь, будто солнце этого дня легло ему в грудь. Нет, этого не выразишь.

Ивану Ильичу стало грустно. «Нет, нет, — думал он, глядя под ноги, — если я и скажу ей эти слова — будет бессовестно: она не может меня любить, но, как честная и добрая девушка, согласится, если я предложу ей руку. Но это будет насилие. И тем более не имею права говорить, что мы расстаемся на неопределенное время и, по всей вероятности, с войны не вернусь... Заставлю напрасно ожидать, держать слово... Нет и нет».

Это был один из приступов самоедства, свойственного Ивану Ильичу. Даша вдруг остановилась и, оперевшись о его плечо, сняла с ноги туфельку.

— Ах, боже мой, боже мой, — проговорила она, стала высыпать песок из туфли, потом надела ее, выпрямилась и вздохнула глубоко:

— Я знаю — я очень буду вас любить, когда вы уедете, Иван Ильич.

Она положила руки ему на шею и, глядя в глаза ясными, почти суровыми, без улыбки, серыми глазами, вздохнула еще раз, легко:

— Мы и там будем вместе, да?

Иван Ильич осторожно привлек ее и поцеловал в нежные, дрогнувшие губы. Даша закрыла глаза. Потом, когда им обоим не хватило больше воздуха, Даша отстранилась, взяла Ивана Ильича под руку, и они пошли вдоль тяжелой и темной воды, лижущей багровыми бликами берег у их ног.

Все это Иван Ильич вспоминал с неуставаемым волнением, всякий раз в минуты тишины. Бредя сейчас с закинутыми за шею руками, в тумане, по шоссе, между деревьями, он снова видел внимательный взгляд Даши, испытывал долгий ее поцелуй, — дыхание жизни.

В тот час (и теперь навсегда) он перестал быть одним. Девушка в белом платье поцеловала его вечером на берегу моря. И вот распался свинцовый обруч одиночества. Прежний Иван Ильич Телегин перестал быть. В ту удивительную минуту появился новый, весь до последнего волоска — иной Иван Ильич. Тот подлежал уничтожению, этот исчезнуть не мог. Тот был один, как черт на пустыре, этот жаждал шириться, множиться, принимать во взволнованное сердце все — людей, зверей, всю землю.

— Стой, кто идет? — прозябшим, грубым голосом проговорили из тумана.

— Свой, свой, — ответил Иван Ильич, опуская руки в карманы шинели, и повернул под дубы к неясной громаде замка, где в нескольких окнах желтел свет. На крыльце кто-то, увидев Телегина, бросил папироску и вытянулся. «Что, почты не было?» — «Никак нет, ваше благородие, ожидаем». Иван Ильич вошел в прихожую. В глубине ее, над широкой, уходящей изгибом вверх, дубовой лестницей висел гобелен, должно быть очень старинный: среди тонких деревьев стояли Адам и Ева, она держала в руке яблоко — символ вечной радости жизни, он — срезанную ветвь с цветами — символ падения и искупления. Их выцветшие

лица и удлиненные тела неясно освещала свеча, стоящая в бутылке на лестничной колонне.

Иван Ильич отворил дверь направо и вошел в пустую комнату с лепным потолком, рухнувшим в углу, там, где вчера в стену ударил снаряд. У горящего очага, на койке, сидели поручик князь Бельский и подпоручик Мартынов. Иван Ильич поздоровался, спросил, когда ожидают из штаба автомобиль, и присел неподалеку на патронные жестянки, шурясь от света.

— Ну что, у вас все постреливают? — спросил Мартынов, почему-то насмешливо.

Иван Ильич не ответил, пожал плечами. Князь Бельский продолжал говорить вполголоса:

— Главное — это вонь. Я написал домой, — мне не страшна смерть. За отечество я готов пожертвовать жизнью, для этого я, строго говоря, перевелся в пехоту и сижу в окопах, но вонь меня убивает.

— Вонь — это ерунда, не нравится, не нюхай, — отвечал Мартынов, поправляя аксельбант, — а вот что здесь нет женщин — это существенно. Это — просто глупо, к добру не приведет. Суди сам — командующий армией старая песочница, и нам здесь устроили монастырь, черт возьми, — ни водки, ни женщин. Разве это забота об армии, разве это война? Дай мне женщину, — плевал я на тыл. Воевать нужно весело.

Мартынов поднялся с койки и сапогом стал пихать в поленья. Князь задумчиво курил, глядя на огонь.

— Пять миллионов солдат, которые гадят, — сказал он, — кроме того, гниют трупы и лошади. На всю жизнь у меня останется воспоминание об этой войне, как о том, что дурно пахнет. Брр...

На дворе, в это время, послышалось пыхтенье подкатившего автомобиля.

— Господа, почту привезли! — крикнул в дверь чей-то взволнованный голос. Офицеры сейчас же вышли на крыльцо. Около автомобиля двигались темные фигуры, несколько человек бежало по двору. И чей-то хриплый голос повторял: «Господа, прошу не хватать из рук».

Наконец, мешки с почтой и посылками были внесены в прихожую, и на лестнице, под Адамом и Евой, их стали распаковывать. Здесь была почта за целый месяц. Казалось, в этих грязных парусиновых мешках было скрыто целое море любви и тоски, — вся покинутая, милая, чистая жизнь.

— Господа, не хватайте из рук, — хрипел штабс-капитан Бабкин, тучный, багровый человек, — прапорщик Телегин, шесть писем и посылка... Прапорщик Нежный, — два письма...

— Нежный убит, господа...

— Когда?

— Сегодня утром...

Иван Ильич пошел к камину. Все шесть писем были от Даши. Адрес на конвертах написан крупным полудетским почерком. Ивана Ильича заливало нежностью к этой милой руке, написавшей такие большие буквы, — чтобы все разобрали, не было бы ошибки. Нагнувшись к огню, он осторожно разорвал первый конверт. Оттуда пахло на него таким воспоминанием, что пришлось на минуту закрыть глаза. Потом он прочел: «Мы проводили вас и уехали с Николаем Ивановичем в тот же день в Симферополь и вечером сели в петербургский поезд. Сейчас мы на нашей старой квартире. Николай Иванович очень встревожен: от Катюши нет никаких вестей, где она — не знаем. То, что у нас с вами случилось, — так велико и так внезапно, что я еще не могу опомниться. Не вините меня, что я вам пишу на “вы”. Я вас люблю. Я буду вас верно и очень сильно любить. А сейчас очень смутно, — по улицам проходят войска с музыкой, до того печально, — точно счастье уходит, вместе с трубами, с этими солдатами. Я знаю, что не должна этого писать, но вы все-таки будьте осторожны на войне...»

— Ваше благородие. Ваше благородие. — Телегин с трудом обернулся, в дверях стоял вестовой. — Телефонограмма, ваше благородие... Требуют в роту.

— Кто?

— Подполковник Розанов. Как можно, говорит, скорей просили быть.

Телегин сложил недочитанное письмо, вместе с остальными конвертами засунул под рубашку, надвинул картуз на глаза и вышел.

Туман теперь стал еще гуще, деревьев не было видно, и идти пришлось, как в молоке, только по хрусту гравия определяя дорогу. Хрустя гравием, Иван Ильич повторял: «Я буду вас верно и очень сильно любить». Вдруг он остановился, прислушиваясь. В тумане не было ни звука, только падала иногда тяжелая капля с дерева. И вот, неподалеку, он стал различать какое-то бульканье и мягкий шорох. Он двинулся дальше, бульканье стало явственнее. И вдруг его занесенная нога опустилась в пустоту. Он сильно откинулся назад, — глыба земли, оторвавшись из-под ног его, рухнула с тяжелым плеском в воду.

Очевидно, это было то место, где шоссе обрывалось над рекой у сожженного моста. На той стороне, шагах в ста отсюда, он это знал, к самой реке подходили австрийские окопы. И, действительно, вслед за плеском воды, как кнутом, с той стороны хлестнул выстрел и покатился по реке, хлестнул второй, третий, затем словно рвануло железо — раздался длинный залп, и в ответ ему

захлопали отовсюду заглушенные туманом, торопливые выстрелы. Все громче, громче загрохотало, заухало, заревело по всей реке, и в этом окаянном шуме хлопотливо затарахтел пулемет, точно колол орехи. Бух! — ухнул где-то в лесу разрыв. Весь дырявый, грохочущий туман плотно висел над землей, прикрывая это обычное и омерзительное дело. Несколько раз около Ивана Ильича с чавканьем в дерево хлопала пуля, валилась ветка. Он свернул с шоссе на поле и пробирался наугад кустами. Стрельба так же внезапно начала затихать и окончилась. Иван Ильич снял картуз и вытер мокрый лоб. Снова было тихо, как под водой, лишь падали капли с кустов. Слава богу, Дашины письма он сегодня прочтет. Иван Ильич засмеялся и перепрыгнул через канаву. Наконец, совсем рядом, он услышал, как кто-то, зевая, проговорил:

— Вот тебе и поспали, Василий, я говорю — вот тебе и поспали.

— Погоди, — ответили отрывисто. — Идет кто-то.

— Кто идет?

— Свой, свой, — поспешно сказал Телегин и сейчас же увидел земляной бруствер окопа и запрокинувшиеся из-под земли два бородатых лица. Он спросил:

— Какой роты?

— Третьей, ваше благородие, свои. Что же вы, ваше благородие, по верху-то ходите? Задеть могут.

Телегин прыгнул в окоп и пошел по нему до хода сообщения, ведущего к офицерской землянке. Солдаты, разбуженные стрельбой, говорили:

— В такой туман, очень просто, он речку где-нибудь перейдет.

— Не допустим.

— Вдруг — стрельба, гул — здорово живешь... Напугать, что ли, нас хочет, или он сам боится?

— А ты не боишься?

— Так ведь я-то что же. Я ужас какой пужливый.

— Ребята, Гавриле палец долой оторвало.

— Перевязываться пошел?

— Заверещал, палец вот так кверху держит. Смех.

— Вот ведь кому счастье... В Россию отправят.

— Что ты. Кабы ему всю руку оторвало — тогда бы увезли. А с пальцем — погнет поблизости, и опять пожалуйста в роту.

— Когда же эта война кончится?

— Ладно тебе.

— Кончится, да не мы этого увидим.

— Хоть бы Вену что ли бы взяли.

— А тебе она на что?

— Так, все-таки. Поглядели бы.

— К весне воевать не кончим, — все равно — так все разбегутся. Землю кому пахать, — бабам? Народу накрошили — полную меру. А к чему? Будет. Напились, сами отвалимся...

— Ну, енералы скоро воевать не перестанут.

— Ты это откуда знаешь? Тебе кто говорил? В зубы вот тебе дам, сукин сын.

— Енералы воевать не перестанут.

— Верно, ребята. Первое дело — выгодно, — двойное жалование идет им, кресты, ордена. Мне один человек сказывал: за каждого, говорит, рекрута англичане платят нашим генералам по тридцать восемь целковых с полтиной за душу.

— Ах, сволочи! Как скот продают.

— Будет вам, ребята, молоть-то, — нехорошо.

— Ладно. Потерпим, увидим.

Когда Телегин вошел в землянку, батальонный командир, подполковник Розанов, тучный, в очках, с редкими вихрами на большом черепе, ленивый и умный человек, проговорил, сидя в углу под еловыми ветками, на пополах:

— Явился, наконец.

— Виноват, Федор Кузьмич, ей-богу, сбился с дороги — туман страшный.

— Ну, ну. Вот что, голубчик, придется нынче ночью потрудиться.

Он положил в рот корочку хлеба, которую все время держал в грязном кулаке. Телегин медленно стиснул челюсти, подобрался...

— Штука в том, что нам приказано, милейший Иван Ильич, батенька мой, перебраться на ту сторону. Хорошо бы это дело соорудить как-нибудь полегче. Садитесь рядышком. Коньячку желаете? Вот я придумал, значит, такую штуку.. Навести мостик, как раз против большой ракиты. Перекинем на ту сторону человек семьдесят... Вы уж постарайтесь, Господь с вами... А на заре и мы тронемся.

XVI

— Сусов!

— Здесь, ваше благородие.

— Подкапывай... Тише, не кидай в воду. Так, так, так... Ребята, подавайте, подавайте вперед... Зубцов!

— Здесь, ваше благородие.

— Помоги-ка... Наставляй, вот сюда... Подкопни еще... Опускай... Легче...

— Легче, ребята, плечо оторвешь... Насовывай...

— Ну-ка, посунь...

— Не ори, тише ты, сволочь!

- Упирай другой конец... Ваше благородие, поднимать?
- Концы привязали?
- Готово.
- Поднимай...

В облаках тумана, насыщенного лунным светом, закрипев, поднялись две высокие жерди, соединенные перекладинами, — перекидной мост. На берегу, едва различимые, двигались фигуры охотников. Говорили и ругались торопливым шепотом.

- Ну, что — сел?
- Сидит хорошо.
- Спускай... Осторожнее...
- Полегоньку, полегоньку, ребята...

Жерди, упертые концами в берег речки, в самом узком ее месте, медленно начали клониться и повисли в тумане над водой.

- Достанет до берега?
- Достанет, ваше благородие...
- Тише опускай...
- Чижол очень.
- Стой, стой, стой!

Но все же дальний конец моста с громким всплеском лег в воду. Телегин махнул рукой:

- Ложись.

И неслышно в траве на берегу прилегли, притаились фигуры охотников. Туман редел, но стало темнее, и воздух жестче перед рассветом. На той стороне все было тихо. Телегин позвал:

- Зубцов!
- Здесь.
- Лезь, настилай.

Пахнувшая едким потом и шинелью, рослая фигура охотника Василия Зубцова соскользнула мимо Телегина с берега в воду. Иван Ильич увидел, как большая рука, дрожа, ухватилась за траву, отпустила ее и скрылась.

— Глыбко, — зябким шепотом проговорил Зубцов откуда-то снизу. — Ребята, подавай доски...

- Доски, доски давай.

Неслышно и быстро, с рук на руки, стали подавать доски. Прибивать их было нельзя — боялись шума. Наложив первые ряды, Зубцов вылез из воды на мостик и вполголоса приговаривал, стуча зубами:

- Живей, живей подавай... Не спи...

Под мостом журчала быстрая, студеная вода, жерди колебались. Телегин различал темные очертания кустов на той стороне, и, хотя это были точно такие же кусты, как и на нашем берегу, вид их казался жутким. Иван Ильич вернулся на берег, где лежали охотники, и крикнул резко:

— Вставай!

Сейчас же в беловатых облаках поднялись преувеличенно большие, расплывающиеся фигуры.

— По одному, бегом!..

Телегин повернул к мосту. В ту же минуту, словно луч солнца уперся в переливающееся пылью туманное облако, осветились желтые доски, вскинутая в испуге чернородая голова Зубцова. Луч прожектора метнулся вбок, в кусты, вызвал оттуда, из небытия корявую ветвь с голыми сучьями, и снова лег на доски. Телегин мелко перекрестил душу, как бывало, перед купаньем, и побежал через мост. И сейчас же словно обрушилась вся эта черная тишина, громом отдалась в голове. По мосту с австрийской стороны стали бить ружейным и пулеметным огнем. Телегин прыгнул на берег и, присев, обернулся. Через мост бежал высокий солдат, — он не разобрал кто, — винтовку прижал к груди... выронил ее, поднял руки, точно смеясь, и опрокинулся вбок, в воду. Пулемет хлестал по мосту, по воде, по берегу.. Пробежал второй, Сусов, и лег около Телегина...

— Зубами заем, туды их в душу!

Побежали второй, и третий, и четвертый, и еще один сорвался и завопил, барахтаясь в воде...

Перебежали все и залегли, навалив лопатами земли немного перед собою. Выстрелы иступленно теперь грохотали по всей реке. Нельзя было поднять головы, — по месту, где залегли охотники, так и поливало, так и поливало пулеметом. Вдруг ширкнуло невысоко — раз, два, — шесть раз, и глухо впереди громыхнули шесть разрывов. Это с нашей стороны ударили по пулеметному гнезду.

Телегин и впереди него Василий Зубцов вскочили, пробежали шагов сорок и легли. Пулемет опять заработал, слева, из темноты. Но было ясно, что с нашей стороны огонь сильнее, австрийца загоняли под землю. Пользуясь перерывами стрельбы, охотники подбегали к тому месту, где еще вчера перед австрийскими траншеями нашей артиллерией было раскидано проволочное заграждение.

Его опять начали было заплетать за ночь, — на проволоках висел труп. Зубцов перерезал проволоку, и труп упал мешком перед Телегиным. Тогда на четверинках, без ружья, перегоняя остальных, заскочил вперед охотник Лаптев и лег под самый бруствер. Зубцов крикнул ему:

— Вставай, бросай бомбу!..

Но Лаптев молчал, не двигаясь, не оборачиваясь, — должно быть закатилось сердце от страха. Огонь усилился, и охотники не могли двинуться, — прильнули к земле, зарылись.

— Вставай, бросай, сукин сын, бомбу! — кричал Зубцов, — бросай бомбу! — и, вытянувшись, держа винтовку за приклад,